

A stylized illustration of a man standing in a forest. The man is depicted from the waist up, wearing a light-colored, long-sleeved button-down shirt and dark trousers. He has a serious expression and is looking slightly to the left. The background consists of several tree trunks and dense green foliage. The style uses fine lines and cross-hatching for shading and texture. The overall composition is vertical, with the man positioned in the lower half of the frame.

*Арсений
Тарковский*

**СТИХИ
РАЗНЫХ
ЛЕТ**

*Арсений
Тарковский*

**СТИХИ
РАЗНЫХ
ЛЕТ**



**Москва
1983**

P2
T19

Тарковский А. А.

T19 Стихи разных лет: Стихи.—М.: Современник, 1983.—206с.

В книгу вошли наиболее заметные стихотворения из шести предыдущих сборников поэта, посвященные радостям и горестям бытия, событиям, связанным с историей Родины и человечества.

T 4702010200—064 211—83
M 106(03)—83

ББК84P7
P2



I

* * *

Ночью медленно время идет.
Завершается год високосный.
Чуют жилами старые сосны
Вешних смол коченеющий лед.

Хватит мне повседневных забот,
А другого мне счастья не надо.
Я-то знаю: и там, за оградой,
Чей-нибудь завершается год.

Знаю: новая роща встает
Там, где сосны кончаются наши.
Тяжелы черно-белые чаши,
Чуют жилами срок и черед.

* * *

Был домик в три окна
В такой окрашен цвет,
Что даже в спектре солнца
Такого цвета нет.

Он был еще спектральной,
Зеленый до того,
Что я в окошко спальни
Молился на него.

Я верил, что из рая,
Как самый лучший сон,
Оттенка не меняя,
Переместился он.

Поныне домик чудный,
Чудесный и чудной,
Зеленый, изумрудный,
Стоит передо мной.

И ставни затворяли,
Но иногда и днем
На чем-то в нем играли
И что-то пели в нем,

А ночью на крылечке
Прощались и впотьмах
Затепливали свечки
В бумажных фонарях.

* * *

Мне другие мерещатся тени,
Мне другая поет нищета.
Переплетчик забыл о шагреню,
И красильщик не красит холста,

И кузнечная музыка счетом
На три четверти в три молотка
Не проявится за поворотом
Перед выездом из городка.

За коклюшки свои кружевница
Под окном не садится с утра,
И лудильщик, цыганская птица,
Не чадит кислотой у костра,

Златобит молоток свой забросил,
Златошвейная кончилась нить.
Наблюдать умиранье ремесел —
Все равно что себя хоронить.

И уже электронная лира
От своих программистов тайком
Сочиняет стихи Кантемира,
Чтобы собственным кончить стихом.

* * *

Меркнет зрение — сила моя,
Два незримых алмазных копыя;
Глохнет слух, полный давнего грома
И дыхания отчего дома;
Жестких мышц ослабели узлы,
Как на пашне седые волю;
И не светятся больше ночами
Два крыла у меня за плечами.

Я свеча, я сгорел на пиру.
Соберите мой воск поутру,
И подскажет вам эта страница,
Как вам плакать и чем вам гордиться,
Как веселья последнюю треть
Раздарить и легко умереть,
И под сенью случайного крова
Загореться посмертно, как слово.

* * *

Душу, вспыхнувшую на лету,
Не увидели в комнате белой,
Где в перстах милосердных колдуний
Нежно теплилось детское тело.

Дождь по саду прошел накануне,
И просохнуть земля не успела;

Столько было сирени в июне,
Что сияние мира синело.

И в июле, и в августе было
Столько света в трех окнах, и цвета
Столько в небо фонтанами било
До конца перевозанного лета,
Что судьба моя и за могилой
Днем творенья, как почва, прогрета.

* * *

Влажной землей из окна потянуло,
Уксусной прелью хмельнее вина;
Мать подошла и в окно заглянула,
И потянуло землей из окна.

— В зимней истоме у матери в доме
Спи, как ржаное зерно в черноземе,
И не заботься о смертном конце.

— Без сновидений, как Лазарь во гробе,
Спи до весны в материнской утробе,
Выйдешь из гроба в зеленом венце.

* * *

Я тень из тех теней, которые, однажды
Испив земной воды, не утолили жажды
И возвращаются на свой кремнистый путь,
Смущая сны живых, живой воды глотнуть.

Как первая ладья из чрева океана,
Как жертвенный кувшин выходит из кургана,
Так я по лестнице взойду на ту ступень,
Где будет ждать меня твоя живая тень.

— А если это ложь, а если это сказка,
И если не лицо, а гипсовая маска
Глядит из-под земли на каждого из нас
Каменьями жесткими своих бесслезных глаз...

* * *

Сколько листвы намело. Это легкие наших деревьев,
Опустошенные, сплюснутые пузыри кислорода,
Кровли птичьих гнездовий, опора летнего неба,
Крылья замученных бабочек, охра и пурпур надежды
На драгоценную жизнь, на раздоры и примиренья.
Падайте наискось наземь, горите в кострах,
дотлевайте,
Лодочки глупых сильфид, у нас под ногами. А дети
Северных птиц улетают на юг, ни с кем не прощаясь.

Листья, братья мои, дайте знак, что через полгода
Ваша зеленая смена оденет нагие деревья.
Листья, братья мои, внушите мне полную веру
В силы и зренье благое мое и мое осязанье,
Листья, братья мои, укрепите меня в этой жизни,
Листья, братья мои, на ветвях удержитесь до снега.

* * *

В последний месяц осени, на склоне
Суровой жизни,
Исполненный печали, я вошел
В безлиственный и безымянный лес.
Он был по край омыт молочно-белым
Стеклом тумана. По седым ветвям
Стекали слезы чистые, какими
Одни деревья плачут накануне
Всеобесцвечивающей зимы.
И тут случилось чудо: на закате
Забрезжила из тучи синева,
И яркий луч пробился, как в июне,
Как птичьей песни легкое копье,
Из дней грядущих в прошлое мое.
И плакали деревья накануне
Благих трудов и праздничных щедрот
Счастливых бурь, клубящихся в лазури,
И повели синицы хоровод,
Как будто руки по клавиатуре
Шли от земли до самых верхних нот.

ФЕОФАН ГРЕК

Когда я видел воплощенный гул
И меловые крылья оживали,
Открылось мне: я жизнь перешагнул,
А подвиг мой еще на перевале.

Мне должно завещание могил,
Зияющих как ножевая рана,
Свести к библейской резкости белил
И подмастерьем стать у Феофана.

Я по когтям узнал его: он лев,
Он кость от кости собственной пустыни,
И жажду я, и вижу сны, истлев
На раскаленных углях благостыни.

Я шесть веков дышу его огнем
И ревностью шести веков изранен.
— Придешь ли, милосердный самарянин,
Повить меня твоим прохладным льном?

ГРИГОРИЙ СКОВОРОДА

Не искал ни жилища, ни пищи,
В ссоре с кривдой и с миром не в мире,
Самый косноязычный и нищий
Изо всех государей Псалтыри.

Жил в сродстве горделивый смиренник
С древней книгою книг, ибо это
Правдолюбия истинный ценник
И душа сотворенного света.

Есть в природе притин своеволью:
Степь течет оксамитом под ноги,
Присыпает сивашскою солью
Черствый хлеб на чумацкой дороге,

Птицы молятся, верные вере,
Тихо светят речистые речки,
Домовитые малые звери
По-над норами встали, как свечки.

Но и сквозь обольщения мира,
Из-за литер его Алфавита,
Брезжит небо синее сапфира,
Крыльям разума настезь открыто.

* * *

Мир ловил меня, но не поймал.

Автоэпитафия Гр. Сквороды

Где целовали степь курганы
Лицом в траву, как горбуны,
Где дробно били в барабаны
И пыль клубили табуны,

Где на рогах волю качали
Степное солнце чумака,
Где горькой патокой печали
Чадил костер из кизяка,

Где спали каменные бабы
В календаре былых времен
И по ночам сходились жабы
К ногам их плоским на поклон,

Там пробирался я к Азову:
Подставил грудь под суховей,
Босой пошел на юг по зову
Судьбы скитальческой своей,

Топтал чебрец родного края
И ночевал — не помню где,
Я жил, невольно подражая
Григорию Сковороде,

Я грыз его благословенный,
Священный, каменный сухарь,
Но по лицу моей вселенной
Он до меня прошел, как царь;

Пред ним прельстительные сети
Меняли тщетно цвет на цвет.
А я любил ячейки эти,
Мне и теперь свободы нет.

Не надивуюсь я величью
Счастливых помыслов его.
Но подари мне песню птичью
И степь — не знаю для чего.

Не для того ли, чтоб оттуда
В свой час при свете поздних звезд,
Благословив земное чудо,
Вернуться на родной погост.

ПРИАЗОВЬЕ

На полустанке я вышел. Чугун отдыхал
В крупных шарах маслянистого пара. Он был
Царь ассирийский в клубящихся гроздьях кудрей.
Степь отворилась, и в степь, как воронкой ветров,
Душу втянуло мою. И уже за спиной
Не было мазанок; лунные башни вокруг
Зыблились и утверждались до края земли,
Ночь разворачивала из проема в проем
Твердое, плотно укатанное полотно.
Юность моя отошла от меня, и мешок
Сгорбил мне плечи. Ремни развязал я, и хлеб
Солью посыпал, и степь накормил, а седьмой
Долей насытил свою терпеливую плоть.
Спал я, пока в изголовье моем остывал
Пепел царей и рабов и стояла в ногах
Полная чаша свинцовой азовской слезы.
Снилось мне все, что случится в грядущем со мной.
Утром очнулся и землю землею назвал,
Зною подставил еще неокрепшую грудь.

ПУШКИНСКИЕ ЭПИГРАФЫ

I

Что тревожишь ты меня,
Что ты значишь...

*Стихи, сочиненные ночью
во время бессонницы*

Разобрал головоломку —
Не могу ее сложить.
Подскажи хоть ты потомку,
Как на свете надо жить —

Ради неба или ради
Хлеба и тщеты земной,
Ради сказанных в тетради
Слов идущему за мной?

Под окном — река забвенья,
Испарения болот.
Хмель чужого поколенья
И тревожит, и влечет.

Я кричу, а он не слышит,
Жжет свечу до бела дня,
Будто мне в ответ он пишет:
«Что тревожишь ты меня?»

Я не стою ни полслова
Из его черновика.
Что ни слово — для другого,
Через годы и века.

Боже правый, неужели
Вслед за ним пройду и я
В жизнь из жизни мимо цели,
Мимо смысла бытия?

II

Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты...

К***

Как тот Кавказский Пленник в яме,
Из глины нищеты моей
И я неловкими руками
Лепил свистульки для детей.

Не испытывал закала в печке,
Должно быть, вскоре на куски
Ломались козлики, овечки,
Верблюдики и петушки.

Бросали дети мне объедки,
Искусство жалкое ценя,
И в яму, как на зверя в клетке,
Смотрели сверху на меня.

Прислав сердечную тревогу,
Я забывал, что пела мать,
И научился понемногу
Мне чуждый лепет понимать.

Я смутно жил, но во спасенье
Души, изнывшей в полусне,
Как мимолетное виденье,
Опять явилась Муза мне,

И лестницу мне опустила,
И вывела на белый свет,
И леньность сердца мне простила,
Пусть хоть теперь, на склоне лет.

III

Я каждый раз, когда хочу сундук
Мой отпереть...

Скупой рыцарь

**В магазине меня обсчитали:
Мой целковый кассирше нужней.
Но каких несравненных печалей
Не даряли мне в жизни моей:**

**В снежном, полном веселости мире,
Где алмазная светится высь,
Прямо в грудь мне стреляли, как в тире,
За душой, как за призом, гнались;**

**Хорошо мне изранили тело
И не взяли за то ни копья,
Безвозмездно мне сердце изъяла
Драгоценная ревность моя;**

**Клевета расстилала мне сети,
Голубевшие как бирюза,
Наилучшие люди на свете
С царской щедростью лгали в глаза.**

**Был бы хлеб. Ни богатства, ни славы
Мне в моих сундуках не беречь.
Не гадал мой даритель лукавый,
Что вручил мне с подарками право
На прямую свободную речь.**

IV

Спой мне песню, как сница
Тихо за морем жила...

Зимний вечер

Почему, скажи, сестрица,
Не из райского ковша,
А из нашего напиться
Захотела ты, душа?

Человеческое тело
Ненадежное жилье,
Ты влетела слишком смело
В сердце темное мое.

Тело может истомиться,
Яду невзначай глотнуть,
И потянешься, как птица,
От меня в обратный путь.

Но когда ты отзывалась
На призывы бытия,
Непосильной мне казалась
Ноша бедная моя, —

Может быть, и так случится,
Что, закончив перелет,
Будешь биться, биться, биться —
И не отомкнут ворот.

Пой о том, как ты земную
Боль, и соль, и желчь пила,
Как входила в плоть живую
Смертоносная игла,

Пой, бродяжка, пой, синица,
Для которой корма нет,
Пой, как саваном ложится
Снег на яблоневый цвет,

Как возвысилась пшеница,
Да побил пшеницу град...
Пой, хоть время прекратится,
Пой, на то ты и певица,
Пой, душа, тебя простят.

* * *

Просыпается тело,
Напрягается слух.
Ночь дошла до предела,
Крикнул третий петух.

Сел старик на кровати,
Заскрипела кровать.
Было так при Пилате,
Что теперь вспоминать?

И какая досада
Сердце точит с утра?
И на что это надо —
Горевать за Петра?

Кто всего мне дороже,
Всех желаннее мне?
В эту ночь — от кого же
Я отрекся во сне?

Крик идет петушинный
В первой утренней мгле
Через горы-долины
По широкой земле.

ПОРТРЕТ

Никого со мною нет.
На стене висит портрет.

По слепым глазам старухи
Ходят мухи,
 мухи,
 мухи.

— Хорошо ли, — говорю, —
Под стеклом в твоём раю?

По щеке сползает муха,
Отвечает мне старуха:

— А тебе в твоём доме
Хорошо ли одному?

* * *

А все-таки я не истец,
Меня и на земле кормили:
— Налей ему прокисших щец,
Остатки на помойку вылей.

Всему свой срок и свой конец,
А все-таки меня любили:
Одна: — Прощай! — и под венец,
Другая крепко спит в могиле,

А третья у чужих сердец
По малой капле слез и смеха
Берет и складывает эхо,
И я должник, а не истец.

К СТИХАМ

Стихи мои, птенцы, наследники,
Душеприказчики, истцы,
Молчальники и собеседники,
Смиренники и гордецы!

Я сам без роду и без племени
И чудом вырос из-под рук,
Едва меня лопата времени
Швырнула на гончарный круг.

Мне вытянули горло длинное,
И выкруглили душу мне,
И обозначили былинные
Цветы и листья на спине,

И я раздвинул жар березовый,
Как заповедал Даниил,
Благословил закал свой розовый
И как пророк заговорил.

Скупой, охряной, неприкаянной
Я долго был землей, а вы
Упали мне на грудь нечаянно
Из клювов птиц, из глаз травы.

ЦЕЙСКИЙ ЛЕДНИК

Друг, за чашу благодарствуй,
Небо я держу в руке,
Горный воздух государства
Пью на Цейском леднике.

Здесь хранит сама природа
Явный след былых времен —
Девятнадцатого года
Очистительный озон.

А внизу из труб Садона
Сизый тянется дымок,

Чтоб меня во время оно
Этот холод не увлек.

Там над крышами, как сетка,
Дождик дышит и дрожит,
И по нитке вагонетка
Черной бусиной бежит.

Я присутствую при встрече
Двух времен и двух высот,
И колючий снег на плечи
Старый Цее мне кладет.

МЕЛЬНИЦА В ДАРГАВСКОМ УЩЕЛЬЕ

Все жужжит беспокойное веретено —
То ли осы снуют, то ли гнется камыш, —
Осетинская мельница мелет зерно,
Ты в Даргавском ущелье стоишь.

Там в плетеной корзине скрипят жернова,
Колесо без оглядки бежит, как пришлось,
И, в толченый хрусталь окунув рукава,
Белый лебедь бросается вкось.

Мне бы мельника встретить: он жил над рекой,
Ни о чем не тужил и ходил по дворам,
Он ходил — торговал нехорошей мукой,
Горьковатой, с песком пополам.

ДАГЕСТАН

Я лежал на вершине горы,
Я был окружен землей.
Заколдованный край внизу
Все цвета потерял, кроме двух:
Светло-синий,
Светло-коричневый там,
Где по синему камню писало перо Азраила.
Вкруг меня лежал Дагестан.

Разве гадал я тогда,
Что в последний раз
Читаю арабские буквы на камнях горделивой земли?
Как я посмел променять на чет и нечет любви
Разреженный воздух горы?

Чтобы здесь
В ложке плавить на желтом огне
Дагестанское серебро?
Петь:
«Там я жил над ручьем,
Мыл в ледяной воде
Простую одежду мою?»

КОМИТАС

Ничего душа не хочет
И, не открывая глаз,
В небо смотрит и бормочет,
Как безумный Комитас.

Медленно идут светила
По спирали в вышине,
Будто их заговорила
Сила, спящая во мне.

Вся в крови моя рубаха,
Потому что и меня
Обдувает ветром страха
Стародавняя резня.

И опять Ая-Софии
Камень ходит предо мной,
И земля ступни босые
Обжигает мне золой.

Лазарь вышел из гробницы,
А ему и дела нет,
Что летит в его глазницы
Белый яблоневый цвет.

До утра в гортани воздух
Шелушится, как слюда,
И стоит в багровых звездах
Кривда Страшного суда.

ПЕСНЯ

Давно мои ранние годы прошли
По самому краю,
По самому краю родимой земли,
По скошенной мяте, по синему раю,
И я этот рай навсегда потеряю.

Колышется ива на том берегу,
Как белые руки.
Пройти до конца по мосту не могу,
Но лучшего имени влажные звуки
На память я взял при последней разлуке.

Стоит у излуки
И моет в воде свои белые руки,
А я перед ней в неоплатном долгу.
Сказал бы я, кто на поемном лугу
На том берегу
За ивой стоит, как русалка над речкой,
И с пальца на палец бросает колечко.

ДОЖДЬ В ТБИЛИСИ

Мне твой город нерусский
Все еще незнаком, —
Клен под мелким дождем,
Переулок твой узкий,

Под холодным дождем
Слишком яркие фары,
Бесприютные пары
В переулке твоём,

По крутым тротуарам
Бесконечный подъем.
Затерялся твой дом
В этом городе старом.

Бесконечный подъем,
Бесконечные спуски,
Разговор не по-русски
У меня за плечом.

Сеет дождь из тумана,
Капли падают с крыш.
Ты, наверное, спишь,
В белом спишь, Кетевана?

В переулке твоём
В этот час непогожий
Я — случайный прохожий
Под холодным дождем,

В этот час непогожий,
В час, покорный судьбе,
На тоску по тебе
Чем-то странно похожий.

* * *

Ты, что бабочкой черной и белой,
Не по-нашему дико и смело,
И в мое залетела жильё,
Не колдуй надо мною, не делай
Горше горького сердце мое.

Чернота, окрыленная светом,
Та же черная верность обетам
И платок, ниспадающий с плеч.
А еще в трепетанни этом
Тот же яд и нерусская речь.

* * *

С утра я тебя дожидался вчера,
Они догадались, что ты не придешь,
Ты помнишь, какая погода была?
Как в праздник! И я выходил без пальто.

Сегодня пришла и устроили нам
Какой-то особенно пасмурный день,
И дождь, и особенно поздний час,
И капли бегут по холодным ветвям.

Ни словом унять, ни платком утереть...

25 ИЮНЯ 1935

Хорош ли праздник мой, малиновый иль серый,
Но все мне кажется, что розы на окне,
И не признательность, а чувство полной меры
Бывает в этот день всегда присуще мне.
А если я не прав, тогда скажи — на что же
Мне тишина травы и дружба рощ моих,
И стрелы птичьих крыл, и плеск ручьев, похожий
На объяснение в любви глухонемых?

* * *

Я так давно родился,
Что слышу иногда,
Как надо мной проходит
Студеная вода.
А я лежу на дне речном,
И если песню петь —
С травы начнем, песку зачерпнем
И губ не разомкнем.

Я так давно родился.
Что говорить не могу,
И город мне приснился
На каменном берегу.
А я лежу на дне речном
И вижу из воды
Далекий свет, высокий дом,
Зеленый луч звезды.

Я так давно родился,
Что если ты придешь
И руку положишь мне на глаза,
То это будет ложь,
А я тебя удержать не могу,
И если ты уйдешь
И я за тобой не пойду, как слепой,
То это будет ложь.

* * *

Отнятая у меня, ночами
Плакавшая обо мне, в нестрогом
Черном платье, с детскими плечами,
Лучший дар, не возвращенный богом,

Заклинаю прошлым, настоящим,
Крепче спи, не всхлипывай спросонок,
Не следи за мной зрачком косящим,
Ангел, олененок, соколенок.

Из камней Шумера, из пустыни
Аравийской, из какого круга
Памяти — в сиянии гордыни
Горло мне захлестываешь туго?

Я не знаю, где твоя держава,
И не знаю, как сложить заклятье,
Чтобы снова потерять мне право
На твое дыханье, руки, платье.

ИГНАТЬЕВСКИЙ ЛЕС

Последних листьев жар сплошным самосожженьем
Восходит на небо, и на пути твоём
Весь этот лес живет таким же раздраженьем,
Каким последний год и мы с тобой живем.

В заплаканных глазах отражена дорога,
Как в пойме сумрачной кусты отражены.
Не привередничай, не угрожай, не трогай,
Не задевай лесной наволгшей тишины.

Ты можешь услышать дыханье старой жизни:
Осклизлые грибы в сырой траве растут,
До самых сердцевин их проточили слизи,
А кожу все-таки щекочет влажный зуд.

Все наше прошлое похоже на угрозу —
Смотри, сейчас вернусь, гляди, убью сейчас!
А небо ежится и держит клен, как розу, —
Пусть жжет еще сильнее! — почти у самых глаз.

* * *

Если б, как прежде, я был горделив,
Я бы оставил тебя навсегда;
Все, с чем расстаться нельзя ни за что,
Все, с чем возиться не стоит труда, —
Надвое царство мое разделив.

Я бы сказал:

— Ты уносишь с собой
Сто обещаний, сто праздников, сто
Слов. Это можешь с собой унести.

Мне остается холодный рассвет,
Сто запоздалых трамваев и сто
Капель дождя на трамвайном пути,
Сто переулков, сто улиц и сто
Капель дождя, побежавших вослед.

НОЧНОЙ ДОЖДЬ

То были капли дождевые,
Летящие из света в тень.
По воле случая впервые
Мы встретились в ненастный день.

И только радуги в тумане
Вокруг неярких фонарей
Поведали тебе заране
О близости любви моей,

О том, что лето миновало,
Что жизнь тревожна и светла,
И как ты ни жила, но мало,
Так мало на земле жила.

Как слезы, капли дождевые
Светились на лице твоём,
А я еще не знал, какие
Безумства мы переживем.

Я голос твой далекий слышу,
Друг другу нам нельзя помочь,
И дождь всю ночь стучит о крышу,
Как и тогда стучал всю ночь.

*** * ***

Т. О. -Т.

**Я боюсь, что слишком поздно
Стало сниться счастье мне.
Я боюсь, что слишком поздно
Потянулся я к беззвездной
И чужой твоей стране.**

**Мне-то ведомо, какую —
Ночью темной, без огня,
Мне-то ведомо, какую
Неспокойной, молодой
Ты бываешь без меня.**

**Я-то знаю, как другие,
В поздний час моей тоски,
Я-то знаю, как другие
Смотрят в эти роковые,
Слишком темные зрачки.**

**И в моей ночи ревнивой
Каблучки твои стучат,
И в моей ночи ревнивой
Над тобою дышит диво —
Первых оттепелей чад.**

**Был и я когда-то молод.
Ты пришла из тех ночей.
Был и я когда-то молод,
Мне понятен душный холод,
Вешний лед в крови твоей.**

ПЕРЕД ЛИСТОПАДОМ

Все разошлись. На прощанье осталась
Оторопь желтой листвы за окном,
Вот и осталась мне самая малость
Шороха осени в доме моем.

Выпало лето холодной иголкой
Из онемелой руки тишины
И запропало в потемках за полкой,
За штукатуркой мышиной стены.

Если считаться начнем, я не вправе
Даже на этот пожар за окном.
Верно, еще рассыпается гравий
Под осторожным ее каблуком.

Там, в законном тревожном покое,
Вне моего бытия и жилья,
В желтом, и синем, и красном — на что ей
Память моя? Что ей память моя?

* * *

Мне в черный день приснится
Высокая звезда,
Глубокая криница,
Студеная вода
И крестики сирени
В росе у самых глаз.
Но больше нет ступени —
И тени спрячут нас.

И если вышли двое
На волю из тюрьмы,
То это мы с тобою,
Одни на свете мы,
И мы уже не дети,
И разве я не прав,
Когда всего на свете
Светлее твой рукав.

Что с нами ни случится,
В мой самый черный день,
Мне в черный день приснится
Криница и сирень,
И тонкое колечко,
И твой простой наряд,
И на мосту за речкой
Колеса простучат.

На свете все проходит,
И даже эта ночь
Проходит и уводит
Тебя из сада прочь.
И разве в нашей власти
Вернуть свою зарю?
На собственное счастье
Я как слепой смотрю.

Стучат. Кто там? — Мария. —
Отворишь дверь: — Кто там? —
Ответа нет. Живые
Не так приходят к нам,
Их поступь тяжелее,
И руки у живых
Грубее и теплее
Незримых рук твоих.

— Где ты была? — Ответа
Не слышу на вопрос.
Быть может, сон мой — это
Невнятный стук колес
Там, на мосту, за речкой,
Где светится звезда,
И кануло колечко
В криницу навсегда.

* * *

Сирени вы, сирени,
И как вам не тяжел
Застывший в трудном крене
Альтовый гомон пчел?

Осталось нетерпенье
От юности моей
В горячей вашей пене
И в глубине теней.

А как дохнет по пчелам
И прибежит гроза
И ситцевым подолом
Ударит мне в глаза —

Пройдет прохлада низом
Траву в коленях гнуть,
И дождь по гроздьям сизым
Покажется, как руть.

Под вечер — вёдро снова,
И, верно, в том и суть,
Чтоб хоть силком смычковый
Лиловый гуд вернуть.

* * *

Г. О.-Г.

Вечерний, сизокрылый,
Благословенный свет!
Я словно из могилы
Смотрю тебе вослед.

Благодарю за каждый
Глоток воды живой,
В часы последней жажды
Подаренный тобой,

За каждое движенье
Твоих прохладных рук,
За то, что утешенья
Не нахожу вокруг,

За то, что ты надежды
Уводишь, уходя,
И ткань твоей одежды
Из ветра и дождя.

*** * ***

Снова я на чужом языке
Пересуды какие-то слышу, —
То ли это плоты на реке,
То ли падают листья на крышу.

Осень, видно, я впрямь хороша.
То ли это она колобродит,
То ли злая живая душа
Разговоры с собою заводит,

То ли сам я к себе не привык...
Плыть бы мне до чужих понизовий,
Петь бы мне, как поет плотовщик, —
Побольней, потемней, победовой,

На плоту натянуть дождевик,
Петь бы, шапку надвинув на брови,
Как поет на реке плотовщик
О своей невозвратной любви.

ТЕМНЕЕТ

•

Какое счастье у меня украли!
Когда бы ты пришла в тот страшный год,
В орлянку бы тебя не проиграли,
Души бы не пустили в оборот.

Мне девочка с венгерскою шарманкой
Поет с надсадной хрипотой о том,
Как вывернуло время вверх изнанкой
Твою судьбу под проливным дождем,

И старческой рукою моет стекла
Сентябрьский ветер и уходит прочь,
И челка у шарманщицы намокла,
И вот уже у нас в предместье — ночь.

НОЧЬ ПОД ПЕРВОЕ ИЮНЯ

Пока еще последние колена
Последних соловьев не отгremели
И смутно брезжит у твоей постели
Боярышника розовая пена,

Пока ложится железнодорожный
Мост, как самоубийца, под колеса
И жизнь моя над черной рябью плеса
Летит стремглав дорогой непреложной,

Спи, как на сцене, на своей поляне,
Спи, — эта ночь твоей любви короче, —
Спи в сказке для детей, в ячейке ночи,
Без имени в лесу воспоминаний.



Так вот когда я стал самим собою,
И что ни день — мне новый день дороже,
Но что ни ночь — пристрастнее и строже
Мой суд нетерпеливый над судьбою...

ПЕРВЫЕ СВИДАНИЯ

Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявление,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.

Когда настала ночь, была мне милость
Дарована, алтарные врата
Отворены, и в темноте светилась
И медленно клонилась нагота,
И, просыпаясь: «Будь благословенна!» —
Я говорил и знал, что дерзновенно
Мое благословенье: ты спала,
И тронуть веки синевою вселенной
К тебе сирень тянулась со стола,
И синевою тронутые веки
Спокойны были, и рука тепла.

А в хрустале пульсировали реки,
Дымились горы, брезжили моря,
И ты держала сферу на ладони
Хрустальную, и ты спала на троне,
И — боже правый! — ты была моя.

Ты пробуждалась и преобразила
Вседневный человеческий словарь,
И речь по горло полнозвучной силой
Наполнилась, и, слово, ты раскрыло
Свой новый смысл и означало: царь.

На свете все преобразилось, даже
Простые вещи — таз, кувшин, — когда
Стояла между нами, как на страже,
Слоистая и твердая вода.

Нас повело неведомо куда.
Пред нами расступались, как миражи,
Построенные чудом города,
Сама ложилась мята нам под ноги,
И птицам с нами было по дороге,
И рыбы подымались по реке,
И небо развернулось пред глазами...

Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.

КАК СОРОК ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

I

Как сорок лет тому назад,
Сердцебиение при звуке
Шагов, и дом с окошком в сад,
Свеча и близорукий взгляд,
Не требующий ни поруки,
Ни клятвы. В городе звонят.
Светает. Дождь идет, и темный,
Намокший дикий виноград
К стене прижался, как бездомный,
Как сорок лет тому назад.

II

Как сорок лет тому назад,
Я вымок под дождем, я что-то
Забыл, мне что-то говорят,
Я виноват, тебя простят,
И поезд в десять пятьдесят
Выходит из-за поворота.
В одиннадцать конец всему,
Что будет сорок лет в грядущем
Тянуться поездом идущим
И окнами мелькать в дыму,
Всему, что ты без слов сказала,
Когда уже пошел состав.
И чья-то юность, у вокзала
От провожающих отстав,
Домой по лужам как попало
Плетется, прикусив рукав.

III

Хвала измерившим высоты
Небесных звезд и гор земных,
Глазам — за свет и слезы их!

Рукам, уставшим от работы,
За то, что ты, как два крыла,
Руками их не отвела!

Гортани и губам хвала
За то, что трудно мне поется,
Что голос мой и глух и груб,
Когда из глубины колодца
Наружу белый голубь рвется
И разбивает грудь о сруб!

Не белый голубь — только имя,
Живому слуху чуждый лад,
Звучащий крыльями твоими,
Как сорок лет тому назад.

ВЕТЕР

Душая моя затосковала ночью.

А я любил изорванную в клочья,
Исхлестанную ветром темноту
И звезды, брезжущие на лету
Над мокрыми сентябрьскими садами,
Как бабочки с незрячими глазами,
И на цыганской масляной реке
Шатучий мост, и женщину в платке,
Спадавшем с плеч над медленной водою,
И эти руки как перед бедою.

И кажется, она была жива,
Жива, как прежде, но ее слова
Из влажных Л теперь не означали
Ни счастья, ни желаний, ни печали,
И больше мысль не связывала их,
Как повелось на свете у живых.

Слова горели, как под ветром свечи,
И гасли, словно ей легло на плечи
Все горе всех времен. Мы рядом шли,
Но этой горькой, как полынь, земли

Она уже стопами не касалась
И мне живою больше не казалась.

Когда-то имя было у нее.

Сентябрьский ветер и ко мне в жилые
Врывается —
 то лягает замками,
То волосы мне трогает руками.



II

РУКИ

Взглянул я на руки свои
Внимательно, как на чужие:
Какие они корневые —
Из крепкой рабочей семьи.

Надежная старая стать
Для дружеских твердых пожатий;
Им плуга бы две рукояти,
Буханку бы хлебную дать,

Держать бы им сердце земли,
Да все мы, видать, звездолюбцы, —
И в небо мои пятизубцы
Двумя якорями вросли.

Так вот чем наш подвиг велик:
Один и другой пятерик
Свой труд принимают за благо,
И древней атлантовой тягой
К ступням прикипел материк.

СЛОВАРЬ

Я ветвь меньшая от ствола России,
Я плоть ее, и до ляствы моей
Доходят жилы влажные, стальные,
Льняные, кровяные, костяные,
Прямые продолжения корней.

Есть высоты властительная тяга,
И потому бессмертен я, пока
Течет по жилам — боль моя и благо —
Ключей подземных ледяная влага,
Все эр и эль святого языка.

Я призван к жизни кровью всех рождений
И всех смертей, я жил во времена,
Когда народа безымянный гений
Немую плоть предметов и явлений
Одушевлял, даруя имена.

Его словарь открыт во всю страницу,
От облаков до глубины земной.
— Разумной речи научить синицу
И лист единый заронить в креницу,
Зеленый, рдяный, ржавый, золотой...

СТЕПНАЯ ДУДКА

I

Жили, воевали, голодали,
Умирили врозь, по одному.
Я не живописец, мне детали
Ни к чему, я лучше соль возьму.

Из всего земного ширпотреба
Только дудку мне и принесли:
Мало взял я у земли для неба,
Больше взял у неба для земли.

Я из шапки вытряхнул светила,
Выпустил я птиц из рукава.
Обо мне земля давно забыла,
Хоть моим рифмовником жива.

II

На каждый звук есть эхо на земле.
У пастухов кипел кулеш в котле,
Почесывались овцы рядом с нами
И черными стучали башмачками.
Что деньги мне? Что мне почет и честь
В степи вечерней без конца и края?
С Овидием хочу я брынзу есть
И горевать на берегу Дуная,
Не различать далеких голосов,
Не ждать благословенных парусов.

III

Где вьюгу на латынь
Переводил Овидий,
Я пил степную синь
И суп варил из мидий.

И мне огнем беды
Дуду насквозь продуло,
И потому лады
Поют как Мариула,

И потому семья
У нас не без уroda
И хороша моя
Дунайская свобода.

Где грел он в холода
Лепешку на ладони,
Там южная звезда
Стоит на небосклоне.

IV

Земля неплодородная, степная,
Горючая, но в ней для сердца есть
Кузнечика скрипица костяная
И кесарем униженная честь.

А где мое грядущее? Бог весть.
Изгнание чужое вспоминая,
С Овидием и я за дестью десть
Листал тетрадь на берегу Дуная.

За желть и жёлчь любил я этот край
И говорил: — Кузнечик мой, играй! —
И говорил: — Семь лет пути до Рима!

Теперь мне и до степи далеко.
Живи хоть ты, глоток сухого дыма,
Шалаш, козлук, овечье молоко.

МАЛЮТКА ЖИЗНЬ

Я жизнь люблю и умереть боюсь.
Взглянули бы, как я под током бьюсь
И гнусь, как язь в руках у рыболова,
Когда я перевоплощаюсь в слово.

Но я не рыба и не рыболов.
И я из обитателей углов,
Похожий на Раскольниковца с виду.
Как скрипку, я держу свою обиду.

Терзай меня — не изменюсь в лице.
Жизнь хороша, особенно в конце,
Хоть под дождем и без гроша в кармане,
Хоть в Судный день — с иголкою в гортани.

А! этот сон! Малютка жизнь, дыши,
Возьми мои последние гроши,
Не отпускай меня вниз головою
В пространство мировое, шаровое!

ПОСРЕДИНЕ МИРА

Я человек, я посредине мира,
За мною мириады инфузорий,
Передо мною мириады звезд.
Я между ними лег во весь свой рост —
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост.

Я Нестор, летописец мезозоя,
Времен грядущих я Иеремия.
Держа в руках часы и календарь,
Я в будущее втянут, как Россия,
И прошлое клянусь, как нищий царь.

Я больше мертвецов о смерти знаю,
Я из живого самое живое.
И — боже мой! — какой-то мотылек,
Как девочка, смеется надо мною,
Как золотого шелка лоскуток.

ТИТАНИЯ¹

Прямых стволов благословение
И млечный пар над головой,
И я ложусь в листву осеннюю,
Дышу подспудицей грибной.

Мне грешная моя, невинная
Земля моя передает
Свое терпенье муравьиное
И душу крепкую, как йод.

Кончаются мои скитания.
Я в лабиринт корней войду
И твой престол найду, Титания,
В твоей державе пропаду.

¹ Титания — из «Сна в летнюю ночь» Шекспира.

Что мне в моем погибшем имени?
Твой ржавый лист — моя броня,
Кляни меня, но не гони меня,
Убей, но не гони меня.

ШИПОВНИК

Т. О.-Т.

Я завещаю вам шиповник,
Весь полный света, как фонарь,
Июньских бабочек письмовник,
Задворков праздничный словарь.

Едва калитку отворяли,
В его корзине сам собой,
Как струны в запертом рояле,
Гудел и звякал разнобой.

Там, по ступеням светотени,
Прямыми крыльями стуча,
Сновала радуга видений
И вдоль и поперек луча.

Был очевиден и понятен
Пространства замкнутого шар —
Сплетенье линий, лепет пятен,
Мельканье брачующихся пар.

ГОЛУБИ

Семь голубей — семь дней недели
Склевали корм и улетели,
На смену этим голубям
Другие прилетают к нам.

Живем, считаем по семерке,
В последней стае только пять,
И наши старые задворки
На небо жалко променять:

Тут наши сизари воркуют,
По кругу ходят и жалкуют,
Асфальт крупитчатый клюют
И на поминках дождик пьют.

АНЖЕЛО СЕККИ

— Прости, мой дорогой мерцовский экваториал!

Слова Секки

Здесь, в Риме, после долгого изгнания,
Седой, полуслепой, полуживой,
Один среди небесного сиянья,
Стоит он с непокрытой головой.

Дыханье Рима — как сухие травы.
Привет тебе, последняя ступень!
Судьба лукава, и цари не правы,
А все-таки настал и этот день.

От мерцовского экваториала
Он старых рук не властен оторвать;
Урания не станет, как бывало,
В пустынной этой башне пировать.

Глотая горький воздух, гладит Секки
Давным-давно не чищеную медь.
— Прекрасный друг, расстанемся навеки,
Дай мне теперь спокойно умереть.

Он сходит по ступеням обветшалым
К небытию, во прах, на Страшный суд,
И ласточки над экваториалом,
Как вестницы забвения, спуют.

Еще ребенком я оплакал эту
Высокую, мне родственную тень,
Чтоб, вслед за ней пройдя по белу свету,
Благословить последнюю ступень.

СТАНЬ САМИМ СОБОЙ

Werde der du bist.

Гете

Когда тебе придется туго,
Найдешь и сто рублей и друга.
Себя найти куда трудней,
Чем друга или сто рублей.

Ты вывернешься наизнанку,
Себя обшаришь спозаранку,
В одно смешаешь явь и сны,
Увидишь мир со стороны,

И все и всех найдешь в порядке.
А ты — как ряженный на святки —
Играешь в прятки сам с собой,
С твоим искусством и судьбой.

В чужом костюме ходит Гамлет
И кое-что про что-то мямлит, —
Он хочет Мбиси играть,
А не врагов отца карать.

Из миллиона вероятий
Тебе одно придется кстати,
Но не дается, как назло,
Твое заветное число.

Загородил полнеба гений.
Не по тебе его ступени,
Но даже под его стопой
Ты должен стать самим собой.

Найдешь и у пророка слово,
Но слово лучше у немого,
И ярче краска у слепца,
Когда отыскан угол зренья
И ты при вспышке озаренья
Собой угадан до конца.

КАРЛОВЫ ВАРЫ

Даже песня дается не даром,
И уж если намучились мы,
То какими дрожжами и жаром
Здесь когда-то вздымало холмы.

А холмам на широкую спину,
Как в седло, посадили кремли,
И с ячменных полей десятину
В добрый Пильзен варить повезли.

Расцветай же, как лучшая роза
В наилучшем трехмерном плену,
Дорогая житейская проза,
Воспитавшая эту страну.

Пойте, честные чешские птицы,
Пойте, птицы, пока по холмам
Бродит грузный и розоволицый
Старый Гёте, столь преданный вам.

* * *

Пускай меня простит Винсент Ван-Гог
За то, что я помочь ему не мог,

За то, что я травы ему под ноги
Не постелил на выжженной дороге,

За то, что я не развязал шнурков
Его крестьянских пыльных башмаков,

За то, что в зной не дал ему напиться,
Не помешал в больнице застрелиться.

Стою себе, а надо мной навис
Закрученный, как пламя, кипарис,

Лимонный крон и темно-голубое, —
Без них не стал бы я самим собою;

Унизил бы я собственную речь,
Когда б чужую ношу сбросил с плеч.

А эта грубость ангела, с какою
Он свой мазок роднит с моей строкою,

Ведет и вас через его зрачок
Туда, где дышит звездами Ван-Гог.

ПАУЛЬ КЛЕЕ

Жил да был художник Пауль Клее
Где-то за горами, над лугами.
Он сидел себе один в аллее
С разноцветными карандашами,

Рисовал квадраты и крючочки,
Африку, ребенка на перроне,
Дьяволенка в голубой сорочке,
Звезды и зверей на небосклоне.

Не хотел он, чтоб его рисунки
Были честным паспортом природы,
Где послушно строятся по струнке
Люди, кони, города и воды,

Он хотел, чтоб линии и пятна,
Как кузнечики в июльском звоне,
Говорили слитно и понятно.
И однажды утром на картоне

Проступили крылышко и темя:
Ангел смерти стал обозначаться.
Понял Клее, что настало время
С музой и знакомыми прощаться.

Попрощался и скончался Клее.
Ничего не может быть печальней!
Если б Клее был намного злее,
Ангел смерти был бы натуральней,

И тогда с художником все вместе
Мы бы тоже сгнули со света,
Порастряс бы ангел наши кости!
Но скажите мне: на что нам это?

На погосте хуже, чем в музее,
Где порой вы бродите, живые,
И висят рядком картины Клее —
Голубые, желтые, блажные...

БАЛЕТ

Пиликает скрипка, гудит барабан,
И флейта свистит по-эльзасски,
На сцену въезжает картонный рыдван
С раскрашенной куклой из сказки.

Оттуда ее вынимает партнер,
Под ляжку подставив ей руку,
И тащит силком на гостиничный двор
К пиратам на верную муку.

Те точат кинжалы, и крутят усы,
И топают в такт каблуками,
Карманные враз вынимают часы
И дико сверкают белками, —

Мол, резать пора! Но в клубничном трико,
В своем лебедином крахмале,
Над рампою прима взлетает легко,
И что-то вибрирует в зале.

Сценической чуши магический ток
Находит, как свист соловьиный,
И пробует волю твою на зубок
Холодный расчет балерины.

И весь этот пот, этот грим, этот клей,
Смущавшие вкус твой и чувства,
Уже завладели душою твоей.
Так что же такое искусство?

Наверное, будет угадана связь
Меж сценой и Дантовым адом,
Иначе откуда бы площадь взялась
Со всей этой шушерой рядом?

КАКТУС

Далеко, далеко, за полсвета
От родимых долгот и широт,
Допотопное чудище это
У меня на окошке живет.

Что ему до воклюзского лавра
И персидских мучительниц-роз,
Если он под пятой бронтозавра
Ластовидной листвою оброс?

Терпеливый приемыш чужбины,
Доживая стотысячный век,
Гонит он из тугой сердцевины
Восковой криворукий побег.

Жажда жизни кору пробивала, —
Он живет во всю ширь своих плеч
Той же силой, что нам даровала
И в могилах звучащую речь.

ПОЭТ

Жил на свете рыцарь бедный...

А. С. Пушкин

Эту книгу мне когда-то
В коридоре Госиздата
Подарил один поэт;
Книга порвана, измята,
И в живых поэта нет.

Говорили, что в обличье
У поэта нечто птичье
И египетское есть;
Было нищее величье
И задерганная честь.

Как боялся он пространства
Коридоров! постоянства
Кредиторов! Он как дар
В диком приступе жеманства
Принимал свой гонорар.

Так елозит по экрану
С реверансами, как спьяну,
Старый клоун в котелке
И, как трезвый, прячет рану
Под жилеткой из пике.

Оперенный рифмой парной,
Кончен подвиг календарный, —
Добрый путь тебе, прощай!
Здравствуй, праздник гонорарный,
Черный белый каравай!

Гнутым словом забавлялся,
Птичьим клювом улыбался,
Встречных с лету брал в зажим,
Одиночества боялся
И стихи читал чужим.

Так и надо жить поэту.
Я и сам спую по свету,
Одиночества боюсь,
В сотый раз за книгу эту
В одиночестве берусь.

Там в стихах пейзажей мало,
Только бестолочь вокзала
И театра кутерьма,
Только люди как попало,
Рынок, очередь, тюрьма.

Жизнь, должно быть, наболтала,
Наплела судьба сама.

СНЫ

Садится ночь на подоконник,
Очки волшебные надев,
И длинный вавилонский сонник,
Как жрец, читает нараспев.

Уходят вверх ее ступени,
Но нет перил над пустотой,
Где судят тени, как на сцене,
Иноязычный разум твой.

Ни смысла, ни числа, ни меры.
А судьи кто? И в чем твой грех?
Мы вышли из одной пещеры,
И клинопись одна на всех.

Явь от потопа до Эвклида
Мы досмотреть обречены.
Отдай — что взял; что видел — выдай!
Тебя зовут твои сыны.

**И ты на чьем-нибудь пороге
Найдешь когда-нибудь приют,
Пока быки бредут, как боги,
Боками трутся на дороге
И жвачку времени жуют.**

ВЕРБЛЮД

**На длинных нерусских ногах
Стоит, улыбаясь некстати,
А шерсть у него на боках
Как вата в столетнем халате.**

**Должно быть, молясь на восток,
Кочевники перемудрили,
В подшерсток втирали песок
И ржавой колючкой кормили.**

**Горбатую царскую плоть,
Престол нищеты и терпенья,
Нещедрый пустынный-господь
Слепил из отходов творенья.**

**И в ноздри вложили замок,
А в душу — печаль и величье,
И верно, с тех пор погромом
На шее болтается птичьей.**

**По Черным и Красным пескам,
По дикому зною бродяжил,
К чужим пристрастился тюкам,
Копейки под старость не нажил.**

Привыкла верблюжья душа
К пустыне, тюкам и побоям.
А все-таки жизнь хороша,
И мы в ней чего-нибудь стоим.

В ДОРОГЕ

Где черный ветер, как налетчик,
Поет на языке блатном,
Проходит путевой обходчик,
Во всей степи один с огнем.

Над полосою отчужденья
Фонарь качается в руке,
Как два крыла из сновиденья
В середине ночи на реке.

И в желтом колыбельном свете
У мирозданья на краю
Я по единственной примете
Родную землю узнаю.

Есть в рельсах железнодорожных
Пророческий и смутный зов
Благословенных, невозможных,
Не спящих ночью городов.

И осторожно, как художник,
Следит проезжий за огнем,
Покуда железнодорожник
Не пропадет в краю степном.

ДЕРЕВО ЖАННЫ

Мне говорят, а я уже не слышу,
Что говорят. Моя душа к себе
Прислушивается, как Жанна д'Арк.
Какие голоса тогда поют!

И управлять я научился ими:
То флейты вызываю, то фаготы,
То арфы. Иногда я просыпаюсь,
А все уже давным-давно звучит,
И кажется — финал не за горами.

Привет тебе, высокий ствол и ветви
Упругие, с листвой зелено-ржавой,
Таинственное дерево, откуда
Ко мне слетает птица первой ноты.

Но стоит взяться мне за карандаш,
Чтоб записать словами гул литавров,
Охотничьи сигналы духовых,
Весенние размытые порывы
Смычков, — я понимаю, что со мной:
Душа к губам прикладывает палец —
Молчи! Молчи!

И все, чем смерть жива
И жизнь сложна, приобретает новый,
Прозрачный, очевидный, как стекло,
Внезапный смысл. И я молчу, но я
Весь без остатка, весь как есть — в раструбе
Воронки, полной утреннего шума.

Вот почему, когда мы умираем,
Оказывается, что ни полслова
Не написали о себе самих,
И то, что прежде нам казалось нами,
Идет по кругу
Спокойно, отчужденно, вне сравнений
И нас уже в себе не заключает.

Ах, Жанна, Жанна, маленькая Жанна!
Пусть коронован твой король, —какая
Заслуга в том? Шумит волшебный дуб,
И что-то голос говорит, а ты
Огнем горишь в рубахе не по росту.

ПОЗДНЯЯ ЗРЕЛОСТЬ

Не для того ли мне поздняя зрелость,
Чтобы, за сердце схватившись, оплакать
Каждого слова сентябрьскую спелость,
Яблока тяжесть, шиповника мякоть,

Над лесосекой тянувшийся порох,
Сухость брусничной поляны, и ради
Правды — вернуться к стихам, от которых
Только помарки остались в тетради.

Все, что собрали, сложили в корзины, —
И на мосту прогремела телега.
Дай мне еще склониться с вершины,
Дай удержаться до первого снега.

* * *

О, только бы привстать, опомниться, очнуться
И в самый трудный час благословить труды,
Вспоившие луга, вскормившие сады,
В последний раз глотнуть из выгнутого блюда
Листа ворсистого
хрустальный мозг воды.

Дай каплю мне одну, моя трава земная,
Дай клятву мне взамен — принять в наследство речь,
Гортанью разрастись и крови не беречь,
Не помнить обо мне и, мой словарь ломая,
Свой пересохший рот моим огнем обжечь.

* * *

Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала как флейта звучать.
Я ловил соответствия звука и цвета,
И когда запевала свой гимн стрекоза,
Меж зеленых ладов проходя, как комета,
Я-то знал, что любая росинка — слеза.
Знал, что в каждой фасетке огромного ока,
В каждой радуге яркострекочущих крыл
Обитает горящее слово пророка,
И Адамову тайну я чудом открыл.

Я любил свой мучительный труд, эту кладку
Слов, скрепленных их собственным светом, загадку

Смутных чувств и простую разгадку ума,
В слове правда мне виделась правда сама,
Был язык мой правдив, как спектральный анализ,
А слова у меня под ногами валялись.

И еще я скажу: собеседник мой прав,
В четверть шума я слышал, в полсвета я видел,
Но зато не унизил ни близких, ни трав,
Равнодушием отчей земли не обидел,
И пока на земле я работал, приняв
Дар студеной воды и пахучего хлеба,
Надо мною стояло бездонное небо,
Звезды падали мне на рукав.

* * *

Вот и лето прошло,
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.

Все, что сбыться могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло.
Только этого мало.

Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Все горело светло,
Только этого мало.

Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.

Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
День промыт, как стекло.
Только этого мало.

ПЕРВАЯ ГРОЗА

Лиловая в Крыму и белая в Париже,
В Москве моя весна скромней и сердцу ближе,
Как девочка в слезах. А вор в дождевике
Под дождь — из булочной с бумажкой в кулаке,
Но там, где туфелькой скользнула изумрудной,
Беречься ни к чему и плакать безрассудно;
По лужам облака проходят косяком,
Павлиньи радуги плывут под каблуком,
И девочка бежит по гребню светотени
(А это жизнь моя) в зеленом по колени,
Авоськой машучи, по лестнице винтом,
И город весь внизу, и гром — за нею в дом...

СТЕПЬ

Земля сама себя глотает
И, тычась в небо головой,
Провалы памяти латает
То человеком, то травой.

Трава — под конскою подковой,
Душа — в коробке костяной,
И только слово, только слово
В степи маячит под луной.

Почует степь, как неживая,
И на курганах валуны
Лежат — цари сторожевые,
Опившись оловом луны.

Последним умирает слово.
Но небо движется, пока
Сверло воды проходит снова
Сквозь жесткий щит материка.

Дохнет репейника ресница,
Сверкнет кузнечика седло,
Как радугу, степная птица
Расчешет сонное крыло,

И в сизом молоке по плечи
Из рая выйдет в степь Адам
И дар прямой разумной речи
Вернет и птицам и камням.

Любовный бред самосознания
Вдохнет, как душу, в корни трав,
Трепещущие их названья
Еще во сне пересоздав.

ДЕРЕВЬЯ

I

Чем глуше крови страстный ропот
И верный кров тебе нужней,
Тем больше ценишь трезвый опыт
Спокойной зрелости своей.

Оплакав молодые годы,
Молочный брат листвы и трав,
Глядишься в зеркало природы,
В ее лице свое узнав.

И собеседник и ровесник
Деревьев полувековых,
Ищи себя не в ранних песнях,
А в росте и упорстве их.

Им тяжело собственное бремя,
Но с каждой новой весной
В их жесткой сердцевине время
За слоем отлагает слой.

И крепнет их живая сила,
Двоятся ветви их, деля
Тот груз, которым одарила
Своих питомцев мать-земля.

О чем скорбя, в разгаре мая
Вдоль исполинского ствола

На крону смотришь, понимая,
Что мысль в замену чувств пришла?

О том ли, что в твоих созвучьях
Отвердевает кровь твоя,
Как в терпеливых этих сучьях
Луч солнца и вода ручья?

II

Державы птичьей нищеты,
Ветров зеленые кочевья,
Ветвями ищут высоты
Слепорожденные деревья.

Зато, как воины, стройны,
Очеловеченные нами,
Стоят, и соединены
Земля и небо их стволами.

С их плеч, когда зима придет,
Слетит убранство золотое:
Пусть отдохнет лесной народ,
Накопит силы на покое.

А листья — пусть лежат они
Под снегом, ржавчина природы.
Сквозь щели сломанной брони
Живительные брызнут воды,

И двинется весенний сок,
И сквозь кору из черной раны
Побега молодого рог
Проглянет, нежный и багряный

И вот уже в сквозной листве
Стоят округ земли прогретой
И света ищут в синеве
Еще, быть может, до рассвета.

— Как будто горцы к нам пришли
С оружием своим старинным
На праздник матери-земли
И станом стали по низинам.

Созвучья струн волосяных
Налетом птичьим зазвучали,
И пляски ждут подружки их,
Держа в точеных пальцах шали.

Людская плоть в родстве с листвою,
И мы чем выше, тем упорней:
Древесные и наши корни
Живут порукой круговой.

ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ

I

Предчувствиям не верю, и примет
Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда
Я не бегу. На свете смерти нет:
Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо
Бояться смерти ни в семнадцать лет,
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет,
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.
Мы все уже на берегу морском,

И я из тех, кто выбирает сети,
Когда идет бессмертье косяком.

II

Живите в доме — и не рухнет дождь.
Я вызову любое из столетий,
Войду в него и дом построю в нем.
Вот почему со мною ваши дети
И жены ваши за одним столом, —
А стол один и прадеду и внуку:
Грядущее свершается сейчас,
И если я приподымаю руку,
Все пять лучей останутся у вас.
Я каждый день минувшего, как крепью,
Ключицами своими подпирал,
Измерил время землемерной цепью
И сквозь него прошел, как сквозь Урал.

III

Я век себе по росту подбирал.
Мы шли на юг, держали пыль над степью;
Бурьян чадил; кузнечик баловал,
Подковы трогал усом, и пророчил,
И гибелью грозил мне, как монах.
Судьбу свою к седлу я приторочил;
Я и сейчас в грядущих временах,
Как мальчик, привстаю на стремях.

Мне моего бессмертия довольно,
Чтоб кровь моя из века в век текла.
За верный угол ровного тепла
Я жизнью заплатил бы своевольно,
Когда б ее летучая игла
Меня, как нить, по свету не вела.

ОЛИВЫ

Марине Т.

Дорога ведет под обрыв,
Где стала трава на колени
И призраки диких олив,
На камни рога положив,
Застыли, как стадо оленей.
Мне странно, что я еще жив
Средь стольких могил и видений.

Я сторож вечерних часов
И серой листвы надо мною.
Осеннее небо мой кров.
Не помню я собственных снов
И слез твоих поздних не стою.
Давно у меня за спиною
В камнях затерялся твой зов.

А где-то судьба моя прячет
Ключи у степного костра,
И спутник ее до утра
В багровой рубахе маячит.
Ключи она прячет и плачет
О том, что ей песня сестра
И в путь собираться пора.

Седые оливы, рога мне
Кладите на плечи теперь,
Кладите рога, как на камни:
Святой колыбелью была мне
Земля похорон и потерь.

ЭВРИДИКА

У человека тело
Одно, как одиночка,
Душе осточертела
Сплошная оболочка
С ушами и глазами
Величиной в пятак
И кожей — шрам на шраме,
Надетой на костяк.

Летит сквозь роговицу
В небесную криницу,
На ледяную спицу,
На птичью колесницу
И слышит сквозь решетку
Живой тюрьмы своей
Лесов и нив трещотку,
Трубу семи морей.

Душе грешно без тела,
Как телу без сорочки,—
Ни помысла, ни дела,
Ни замысла, ни строчки.
Загадка без разгадки:
Кто возвратится вспять,
Сплясав на той площадке,
Где некому плясать?

И снится мне другая
Душа, в другой одежде:
Горит, перебегая
От робости к надежде,
Огнем, как спирт, без тени
Уходит по земле,

На память гроздь сирени
Оставив на столе.

Дитя, беги, не сетуй
Над Эвридикой бедной
И палочкой по свету
Гони свой обруч медный,
Пока хоть в четверть слуха
В ответ на каждый шаг
И весело и сухо
Земля шумит в ушах.

РИФМА

Не высоко я ставлю силу эту:
И зяблики поют. Но почему
С рифмовником бродить по белу свету
Наперекор стихиям и уму
Так хочется и в смертный час поэту?

И как ребенок «мама» говорит,
И мечется, и требует покрова,
Так и душа в мешок своих обид
Швыряет, как плотву, живое слово:
За жабры — хват! и рифмами двоит.

Сказать по правде, мы уста пространства
И времени, но прячется в стихах
Кощеевой считалки постоянство;
Всему свой срок: живет в пещере страх,
В созвучье — допотопное шаманство,

И может быть, семь тысяч лет пройдет,
Пока поэт, как жрец, благоговейно
Коперника в стихах перепоеет,
А там, глядишь, дойдет и до Эйнштейна.
И я умру, и тот поэт умрет,

Но в смертный час попросит вдохновенья,
Чтобы успеть стихи досочинить:
— Еще одно дыханье и мгновенье
Дай эту нить связать и раздвоить! —
Ты помнишь рифмы влажное биенье?

РАННЯЯ ВЕСНА

С протяжным шорохом под мост уходит крига —
Зимы-гадальщицы захватанная книга,
Вся в птичьих литерах, в сосновой чешуе.
Читать себя велит одной, другой струе.

Эй, в черном ситчике, неряха городская,
Ну, здравствуй, мать-весна! Ты вон теперь какая:
Расселась — ноги вниз — на Каменном мосту
И первых ласточек бросает в пустоту.

Девчонки-писанки с короткими носами,
Как на экваторе, толкутся под часами
В древнеегипетских ребристых башмаках,
С цветами желтыми в русалочьих руках.

Как не спешить туда взволнованным студентам,
Французам в дудочках, с владимирским акцентом,
Рабочим молодым, жрецам различных муз
И ловким служащим, бежавшим брачных уз?

Но дворник с номером косится исподлобья,
Пока троллейбусы проходят, как надгробья,
И я бегу в метро, где, у Москвы в плену,
Огромный базилевс залег во всю длину.

Там нет ни времени, ни смерти, ни апреля,
Там дышит ровное забвение без хмеля,
И ровное тепло подземных городов,
И ровный узкий свист летучих поездов.

* * *

Над черно-сизой ямою
И жухлым снегом в яме
Заплакала душа моя
Прощальными слезами.

Со скрежетом подъемные
Ворочаются краны
И сыплют шлак в огромные
Расхристанные раны,

Губастые бульдозеры,
Дрожа по-человечьи,
Асфальтовое озеро
Гребут себе под плечи.

Безбровая, безбольная,
Еще в родильной глине,
Встает прямоугольная
Бетонная богиня.

Здесь будет сад с эстрадами
Для скрипок и кларнетов,
Цветной бассейн с наядами
И музы для поэтов.

А ты, душа-чердачница,
О чем затосковала?
Тебе ли, неудачница,
Твоей удачи мало?

Прощай, житье московское,
Где ты любить училась,
Петровско-Разумовское,
Прощайте, ваша милость!

Истцы, купцы, повытчики,
И что в вас было б толку,
Когда б не снег на ситчике,
Накинутом на челку.

Эх, маков цвет, мещанское
Житьишко за заставой!
Я по линейке странствую,
И правый и неправый.

ДОМ НАПРОТИВ

Ломали старый деревянный дом.
Уехали жильцы со всем добром —

С диванами, кастрюлями, цветами,
Косыми зеркалами и котами.

Старик взглянул на дом с грузовика,
И время подхватило старика,

И все осталось навсегда как было.
Но обнажились между тем стропила,

Забрезжила в проемах без стекла
Сухая пыль, и выступила мгла.

Остались в доме сны, воспоминанья,
Забытые надежды и желанья.

Сруб разобрали, бревна увезли.
Но ни на шаг от милой им земли

Не отходили призраки бывшего
И про рябину песню пели снова,

На свадьбах пили белое вино,
Ходили на работу и в кино,

Гробы на полотенцах выносили,
И друг у друга денег в долг просили,

И спали парами в пуховиках,
И первенцев держали на руках,

Пока железная десна машины
Не выгрызла их шелудивой глины,

Пока над ними кран, как буква Г,
Не повернулся на одной ноге.

УТРО В ВЕНЕ

Где ветер бросает ножи
В стекло министерств и музеев,
С насмешливым свистом стрижи
Стригут комаров-ротозеев.

Оттуда на город забот,
Работ и вечерней зевоты,
На роботов Моцарт ведет
Свои насекомые ноты.

Живи, дорогая свирель!
Под праздник мы пол натирали,
И в окна посыпался хмель —
На каждого по сто спиралей.

И если уж смысла искать
В таком суматошном концерте,
То молодость, правду сказать,
Под старость опаснее смерти.

* * *

Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был
И что я презирал, ненавидел, любил.

Начинается новая жизнь для меня,
И прощаюсь я с кожей вчерашнего дня.

Больше я от себя не желаю вестей
И прощаюсь с собою до мозга костей,

И уже наконец над собою стою,
Отделяю, постылую душу мою,

В пустоте оставляю себя самого,
Равнодушно смотрю на себя — на него,

Здравствуй, здравствуй, моя ледяная броня,
Здравствуй, хлеб без меня и вино без меня,

Сновидения ночи и бабочки дня,
Здравствуй, всё без меня и вы все без меня!

Я читаю страницы неписанных книг,
Слышу круглого яблока круглый язык,

Слышу белого облака белую речь,
Но ни слова для вас не умею сберечь,

Потому что сосудом скудельным я был.
И не знаю, зачем сам себя я разбил.

Больше сферы подвижной в руке не держу
И ни слова без слова я вам не скажу.

А когда то во мне находили слова
Люди, рыбы и камни, листва и трава.

В МУЗЕЕ

**Это не мы, это они — ассирийцы,
Жезл государственный бравшие крепко в клешни,
Глинобородые боги-народоубийцы,
В твердых одеждах цари, — это они!**

**Кровь, как булыжник, торчит из щербатого горла,
И невозможно пресытиться жизнью, когда
В дыхало льву пернатые вогнаны сверла,
В рабьих ноздрях — жесткий укус царева суда.**

**Я проклиная тиару Шамшиада,
Я клинописной хвалы не пишу все равно,
Мне на земле ни почета, ни хлеба не надо,
Если мне царские крылья разбить не дано.**

**Жизнь коротка, но довольно и ста моих жизней,
Чтобы заполнить глотающий кости провал.
В башенном городе у ассирийцев на тризне
Я хорошо бы с казненными попировал.**

**Я проклиная подошвы царских сандалий.
Кто я — лев или раб, чтобы мышцы мои
Без возданья в соленую землю втоптали
Прямоугольные каменные муравьи?**

ЯВЬ И РЕЧЬ

Как зрение — сетчатке, голос — горлу,
Число — рассудку, ранний трепет — сердцу,
Я клятву дал вернуть мое искусство
Его животворящему началу.

Я гнул его, как лук, я тетивой
Душил его — и клятвой пренебрег.

Не я словарь по слову составлял,
А он меня творил из красной глины;
Не я пять чувств, как пятерню Фома,
Вложил в зияющую рану мира.
А рана мира облегла меня;
И жизнь жива помимо нашей воли.

Зачем учил я посох прямизне,
Лук — кривизне и птицу — птичьей роще?
Две кисти рук, вы на одной струне,
О явь и речь, зрачки расширьте мне,
И причастите вашей царской мощи,

И дайте мне остаться в стороне
Свидетелем свободного полета,
Воздвигнутого чудом корабля.
О два крыла, две лопасти оплота,
Надежного как воздух и земля!

СНЕЖНАЯ НОЧЬ В ВЕНЕ

Ты безумна, Изора, безумна и зла,
Ты кому подарила свой перстень с отравой
И за дверью трактирной тихонько ждала:
Моцарт, пей, не тужи, смерть в союзе со славой.

Ах, Изора, глаза у тебя хороши
И черней твоей черной и горькой души.
Смерть позорна, как страсть. Подожди, уже скоро,
Ничего, он сейчас задохнется, Изора.

Так лети же, снегов не касаясь стопой:
Есть кому еще уши залить глухотой
И глаза слепотой, есть еще голодуха,
Госпитальный фонарь и сиделка-старуха.

* * *

И я ниоткуда
Пришел расколоть
Единое чудо
На душу и плоть,

Державу природы
Я должен рассечь
На песню и воды,
На сушу и речь

И, хлеба земного
Отведав, прийти
В свечении слова
К началу пути.

Я сын твой, отрада
Твоя, Авраам,
И жертвы не надо
Моим временам,

А сколько мне в чаше
Обид и труда...
И после сладчайшей
Из чаш —
 никуда?

* * *

Струнам счет ведут на лире
Наши древние права,
И всего дороже в мире
Птицы, звезды и трава.

До заката всем народом
Лепят ласточки дворец,
Перед солнечным восходом
Наклоняет лук Стрелец,

И в кувшинчик из живого
Персефонины стекла
Вынуть хлебец свой медовый
Опускается пчела.

Потаенный ларь природы
Отмыкает нищий царь
И крадет залог свободы —
Летних месяцев букварь.

Дышит мята в каждом слове,
И от головы до пят
Шарики зеленой крови
В капиллярах шебуршат.

ЗЕМНОЕ

Когда б на роду мне написано было
Лежать в колыбели богов,
Меня бы небесная мамка вспоила
Святым молоком облаков,

И стал бы я богом ручья или сада,
Стерег бы хлеба и гроба, —
Но я человек, мне бессмертья не надо:
Страшна неземная судьба.

Спасибо, что губ не свела мне улыбка
Над солью и желчью земной.
Ну что же, прощай, олимпийская скрипка,
Не смейся, не пой надо мной.

ЗАГАДКА С РАЗГАДКОЙ

Кто, еще прозрачный школьник,
Учит Музу чепухе
И торчит, как треугольник,
На шатучем лопухе?

Головастый внук Хирона,
Полувсадник-полуконь,

Кто из рук Анакреона
Вынул скачущий огонь?

Кто, Державину докука,
Хлебникову брат и друг,
Взял из храма ультразвука
Золотой зубчатый лук?

Кто, коленчатый, зеленый
Царь, циркач или божок,
Для меня сберег каленый,
Норовистый их смычок?

Кто стрекочет, и пророчит,
И антеннами усов
Пятки времени щекочет,
Как пружинками часов?

Мой кузнечик, мой кузнечик,
Герб державы луговой!
Он и мне протянет глечик
С ионийскою водой.

КОРА¹

Когда я вечную разлуку
Хлебну, как ледяную ртуть,
Не уходи, но дай мне руку
И проводи в последний путь.

Постой у смертного порога
До темноты, как луч дневной,
Побудь со мной еще немного
Хоть в трех аршинах надо мной.

¹ К ó р а (греч.: Дева) — Персефона.

Ужасный рот царицы Кору
Улыбкой привечает нас,
И душу обнажают взоры
Ее слепых загробных глаз.

ЗИМОЙ

Куда меня ведет подруга —
Моя судьба, моя судьба?
Бредем, теряя кромку круга
И спотыкаясь о гроба.

Не видно месяца над нами,
В сугробах вязнут костыли,
И души белыми глазами
Глядят вослед поверх земли.

Ты помнишь ли, скажи, старуха,
Как проходили мы с тобой
Под этой каменной стеной
Зимой студенной, в час ночной,
Давным-давно, и так же глухо,
Вполголоса и в четверть слуха,
Гудело эхо за спиной?

ДО СТИХОВ

Когда, еще спросонок, тело
Мне душу жгло и предо мной
Огнем вперед судьба летела
Неопалимой купиной, —

Свистели флейты ниоткуда,
Кричали у меня в ушах
Фанфары, и земного чуда
Ходила сетка на смычках,

И в каждом цвете, в каждом тоне
Из тысяч радуг и ладов
Окрестный мир стоял в короне
Своих морей и городов.

И странно: от всего живого
Я принял только свет и звук, —
Еще грядущее ни слова
Не заронило в этот круг...

* * *

Стихи попадают в печать,
И в точках, расставленных с толком,
Себя невозможно признать
Бессонниц моих кривотолкам.

И это не книга моя,
А в дальней дороге без весел
Идет по стремнине ладья,
Что сам я у пристани бросил.

И нет ей опоры верней,
Чем дружбы неведомой плечи.
Минувшее ваше, как свечи,
До встречи погашено в ней.

ОДА

Подложи мне под голову руку
И восставь меня, как до зари
Подымала на счастье и муку,
И опять к высоте привари,

Чтобы пламя твое ледяное
Синей солью стекало со лба
И внизу, как с горы, предо мною
Шевелились леса и хлеба,

Чтобы кровь из-под стоп, как с предгорий,
Жарким деревом вниз головой,
Каждой веткой ударилась в море
И несла корабли по кривой.

Чтобы вызов твой ранний сначала
Прозвучал и в горах не затих.
Ты в созвездья других превращала.
Я и сам из преданий твоих.



III

БЛИЗОСТЬ ВОЙНЫ

Кто может умереть — умрет,
Кто выживет — бессмертен будет,
Пойдет греметь из рода в род,
Его и правнук не осудит.

На предпоследнюю войну
Бок о бок с новыми друзьями
Пойдем в чужую сторону.
Да будет память близких с нами!

Счастливец, кто переживет
Друзей и подвиг свой военный,
Залечит раны и пойдет
В последний бой со всей Вселенной.

И слава будет не слова,
А свет для всех, но только проще,
И эта жизнь — плакун-трава
Пред той широкошумной рощей.

СУББОТА, 21 ИЮНЯ

Пусть роют щели хоть под воскресенье.
В моих руках надежда на спасенье.

Как я хотел вернуться в до-войны,
Предупредить, кого убить должны!

Мне вон тому сказать необходимо:
«Иди сюда, и смерть промчится мимо».

Я знаю час, когда начнут войну,
Кто выживет, и кто умрет в плену,

И кто из нас окажется героем,
И кто расстрелян будет перед строем.

И сам я видел вражеских солдат,
Уже заполонивших Сталинград.

И видел я, как русская пехота
Штурмует Бранденбургские ворота.

Что до врага, то все известно мне,
Как ни одной разведке на войне.

Я говорю — не слушают, не слышат,
Несут цветы, субботним ветром дышат,

Уходят, пропусков не выдают,
В домашний возвращаются уют.

И я уже не помню сам, откуда
Пришел сюда и что случилось чудо.

Я все забыл. В окне еще светло
И накрест не заклеено стекло.

* * *

Кони ржут за Сулою...

Слово о полку Игореве

Русь моя, Россия, дом, земля и мать!
Ты для новобрачного — свадебная скатерть,

Для младенца — колыбель, для юного — хмель,
Для скитальца — посох, пристань и постель,

Для пахаря — поле, для рыбака — море,
Для друга — надежда, для недруга — горе,

Для кормщика — парус, для воина — меч,
Для книжника — книга, для пророка — речь,

Для молотобойца — молот и сила,
Для живых — отцовский кров, для мертвых — могила.

Для сердца сыновьяго — негасимый свет.
Нет тебя прекрасней и желанней нет.

Разве даром уголь твоего глагола
Дряным жаром вспыхнул под пятой монгола?

Разве горький Игорь, смертью смерть поправ,
Твой не красил кровью бебряный рукав?

Разве киноварный плащ с плеча Рублева
На ветру широко не полощет снова?

Как душе — дыханье, руке — рукоять.
Хоть бы в пропасть кинуться — тебя отстоять.

* * *

Тебе не наскучило каждому снится,
Кто с князем твоим горевал на войне,
О чем же ты плачешь, княгиня зегзица,
О чем ты поешь на кремлевской стене?

Твой Игорь не умер в плену от печали,
Погоне назло доконал он коня,
А как мы рубились на темной Каяле —
Твой князь на Каяле оставил меня.

И в пору бы мне тетивой удавиться,
У каменной бабы воды попросить.
О том ли в Путивле кукуешь, зегзица,
Что некому раны мои остудить?

Так долго я спал, что по русские очи
С каленым железом пришла татарва,
А смерть твоего кукованья короче,
От крови моей почернела трава.

Спасибо тебе, что стонала и пела.
Я ветром иду по горячей золе,
А ты разнеси мое смертное тело
На сизом крыле по родимой земле.

ПРОВОДЫ

Вытрет губы, наденет шинель
И, не глядя, жену поцелует.
А на улице ветер лютует,
Он из сердца повывудет хмель.

И потянется в город обоз,
Не добудешь ста грамм по дороге,
Только ветер бросается в ноги
И глаза обжигает до слез.

Был колхозником — станешь бойцом.
Пусть о родине, вольной и древней,
Мало песен сложили в деревне —
Выйдешь в поле, и дело с концом.

А на выезде плачет жена,
Причитая и руки ломая,
Словно черные кони Мамаю
Где-то близко, как в те времена,
Мчатся, снежную пыль подымая,
Ветер вьет, и звенят стремена.

* * *

Хорошо мне в теплушке,
Тут бы век вековать,—
Сумка вместо подушки,
И на дождь наплевать.

Мне бы ехать с бойцами,
Грызть бы мне сухари,
Петь да спать бы ночами
От зари до зари,

У вокзалов разбитых
Брать крутой кипяток —
Бездомовный напиток —
В жестяной котелок.

Мне б из этого рая
Никуда не глядеть,
С темнотой засыпая,
Ничего не хотеть —

Ни дороги попятной,
Разоренной войной,
Ни туда, ни обратно,
Ни на фронт, ни домой,—

Но торопит, рыдая,
Песня стольких разлук,
Жизнь моя кочевая,
Твой скрежещущий стук.

* * *

Ехал из Брянска в теплушке слепой,
Ехал домой со своею судьбой.

Что-то ему говорила она,
Только и слов — слепота и война.

Мол, хорошо, что незряч да убог,
Был бы ты зряч, уцелеть бы не мог.

Немец не тронул, на что ты ему?
Дай-ка на плечи надену суму,

Ту ли худую, пустую суму,
Дай-ка я веки тебе подыму.

Ехал слепой со своею судьбой,
Даром что слеп, а доволен собой.

* * *

Чего ты не делала, только
 чтоб видеться тайно со мною...
Тебе не сиделось, должно быть,
 за Камой, в дому невысоком,
Ты под ноги стлалась травюю,
 уж так шелестела весною,
Что боязно было: шагнешь —
 и заденешь тебя ненароком.

Кукушкой в лесу притаилась
и так куковала, что люди
Завидовать стали: ну вот,
Ярославна твоя прилетела!
И если я бабочку видел,
когда и подумать о чуде
Безумием было, я знал:
ты взглянуть на меня захотела.

А эти павлиньи глазки —
там лазори по капельке было
На каждом крыле, и светились..
Я, может быть, со свету сгину,
А ты не покинешь меня,
и твоя чудотворная сила
Травую оденет, цветами подарит
и камень и глину.

И если к земле присмотреться,
чешуйки все в радугах. Надо
Ослепнуть, чтоб имя твое
не прочесть на ступеньках и сводах
Хором этих нежно-зеленых, —
вот верности женской засада:
Ты за ночь построила город
и мне приготовила отдых.

А ива, что ты посадила
в краю, где вовек не бывала?
Тебе до рожденья могли
терпеливые ветви присниться,
Качалась она, подрастая,
и соки земли принимала.
За ивой твоей довелось мне,
за ивой от смерти укрыться.

С тех пор не дивлюсь я, что гибель
 обходит меня стороною:
Я должен ладью отыскать,
 плыть и плыть и, замучась, причалить,
Увидеть такую тебя,
 чтобы вечно была ты со мною,
И крыл твоих, глаз твоих, губ твоих,
 рук — никогда не печалить.

Приснись мне, приснись мне, приснись,
 приснись мне еще хоть однажды.
Война меня потчует солью,
 а ты этой соли не трогай,
Нет горечи горше, и горло мое
 пересохло от жажды.
Дай пить, напои меня, дай мне воды
 хоть глоток, хоть немного.

* * *

Вы нашей земли не считаете раем,
А краем пшеничным, чужим караваем,
Штыком вы отрезали лучшую треть,
Мы намертво знаем, за что умираем,—
Мы землю родную у вас отбираем,
А вам — за ворованный хлеб — умереть.

* * *

На черной трубе погорелого дома
Орел отдыхает в безлюдной степи.
Так вот что мне с детства так горько знакомо:
Видение цезарианского Рима —
Горбатый орел, и ни дома, ни дыма...
А ты, мое сердце, и это стерпи.

* * *

Стояла батарея за этим вот холмом,
Нам ничего не слышно, а здесь остался гром.

Под этим снегом трупы еще лежат вокруг,
И в воздухе морозном застыли взмахи рук.

Ни шагу знаки смерти ступить нам не дают.
Сегодня снова, снова убитые встают.
Сейчас они услышат, как снегири поют.

ОХОТА

Охота кончается.
Меня затравили.
Борзая висит у меня на бедре.
Закинул я голову так, что рога уперлись в лопатки.
Трублю.
Подрезают мне сухожилья.
В ухо тычут ружейным стволом.

Подает на бок, цепляясь рогами за мокрые прутья.
Важу я тусклое око с какой-то налипшей травинкой.
Черное, окостеневшее яблоко без отражений.

Ноги свяжут и шест проденут, вскинут на плечи...

БЕЖЕНЕЦ

Не пожалела на дорогу соли,
Так насолила, что свела с ума.
Горишь, святая камская зима,
А я живу один, как ветер в поле.

Скупишься, мать, дала бы хлеба, что ли.
Полны ядреным снегом закрома,
Бери да ешь. Тяжка моя сума;
Полпуда горя и ломоть недоли.

Я ноги отморожу на ветру,
Я беженец, я никому не нужен,
Тебе-то все равно, а я умру.

Что делать мне среди твоих жемчужин
И кованного стужей серебра
На черной Каме, ночью без костра?

МАРТОВСКИЙ СНЕГ

По такому белому снегу
Белый ангел альфу-омегу
Мог бы крыльями написать
И лебяжью смертную негу
Ниспослать мне как благодать.

Но и в этом снежном застое
Еле слышно о непокое
Сосны черные говорят:
Накипает под их корою
Сумасшедший слезный разлад.

Верхней ветви — семь верст до неба,
Нищей птице — ни крошки хлеба,
Сердцу — будто игла насквозь:
Велика ли его потреба,—
Лишь бы небо впору пришлось.

А по тем снегам из-за лога
Наплывает гулом тревога,
И, чужда себе, предо мной
Жизнь земная, моя дорога,
Бредит под своей сединой.

ЗИМА В ЛЕСУ

Свободы нет в природе,
Ее соблазн исчез,
Не надо на свободе
Смущать ноябрьский лес.

Застыли в смертном сраме
Над собственной листвой
Осины вверх ногами
И в землю головой.

В рубахе погорельца
Идет Мороз-кощей,
Прищелкивая тельца
Опавших желудей.

А дуб в кафтане рваном
Стоит, на смерть готов,
Как перед Иоанном
Боярин Колычев.

Прощай, великолепье
Багряного плаща!
Кленовое отрепье
Слетело, трепещи,

В кувшине кислорода
Истлело на весу...
Какая там свобода,
Когда зима в лесу.

* * *

Когда под соснами, как подневольный раб,
Моя душа несла истерзанное тело,
Еще навстречу мне земля стремглав летела
И птицы прядали, заслышав конский храп.

Иголки черные, и сосен чешуя,
И брызжет из-под ног багровая брусника,
И веки пальцами я раздираю дико,
И тело хочет жить, и разве это — я?

И разве это я ищу сгоревшим ртом
Колен сухих корней, и, как во время оно,
Земля глотает кровь, и сестры Фаэтона
Преображаются и плачут янтарем.

ЗЕМЛЯ

За то, что на свете я жил неумело,
За то, что не кривдой служил я тебе,
За то, что имел небессмертное тело,
Я дивной твоей сопричастен судьбе.

К тебе, истомившись, потянутся руки
С такой наболевшей любовью обнять,
Я снова пойду за Великие Луки,
Чтоб снова мне крестные муки принять.

И грязь на дорогах твоих несладима,
И тощая глина твоя солоня.
Слезам солдатскими будешь хранима
И вдовьей смертельною скорбью сильна.

* * *

Тот жил и умер, та жила
И умерла, и эти жили
И умерли; к одной могиле
Другая плотно прилегла.

Земля прозрачнее стекла,
И видно в ней, кого убили
И кто убил: на мертвой пыли
Горит печать добра и зла.

Поверх земли мятутся тени
Сошедших в землю поколений;
Им не уйти бы никуда
Из наших рук от самосуда,
Когда б такого же суда
Не ждали мы невесть отсюда.

ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ

Стол повернули к свету. Я лежал
Вниз головой, как мясо на весах,
Душа моя на нитке колотилась,
И видел я себя со стороны:
Я без довесков был уравновешен
Базарной жирной гирей.

Это было
Посередине снежного щита,
Щербатого по западному краю,
В кругу незамерзающих болот,
Деревьев с перебитыми ногами

И железнодорожных полустанков
С расколотыми черепами, черных
От снежных шапок, то двойных, а то
Тройных.

В тот день остановилось время,
Не шли часы, и души поездов
По насыпям не пролетали больше
Без фонарей, на серых ластах пара,
И ни вороньих свадеб, ни метелей,
Ни оттепелей не было в том лимбе,
Где я лежал в позоре, в наготе,
В крови своей, вне поля тяготенья
Грядущего.

Но сдвинулся и на оси пошел
По кругу щит слепительного снега,
И низко у меня над головой
Семерка самолетов развернулась,
И марля, как древесная кора,
На теле затвердела, и бежала
Чужая кровь из колбы в жилы мне,
И я дышал, как рыба на песке,
Глотая твердый, слюдяной, земной,
Холодный и благословенный воздух.

Мне губы обметало, и еще
Меня поили с ложки, и еще
Не мог я вспомнить, как меня зовут,
Но ожил у меня на языке
Словарь царя Давида.

А потом

И снег сошел, и ранняя весна
На цыпочки привстала и деревья
Окутала своим платком зеленым.

ИВАНОВА ИВА

Иван до войны проходил у ручья,
Где выросла ива, неведомо чья.

Не знали, зачем на ручей налегла.
А это Иванова ива была.

В своей плащ-палатке, убитый в бою,
Иван возвратился под иву свою.

Иванова ива,
Иванова ива,
Как белая лодка, плывет по ручью.

ЗУММЕР

Я бессмертен, пока я не умер,
И для тех, кто еще не рожден,
Разрываю пространство, как зуммер
Телефона грядущих времен.

Так последний связист под обстрелом,
От большого пути в стороне,
Прикрывает расстрелянным телом
Ящик свой на солдатском ремне.

На снегу в затвердевшей шинели,
Кулаки к подбородку прижав,
Он лежит, как дитя в колыбели,
Правотой несравненною прав.

Где когда-то с боями прошли мы
От большого пути в стороне,
Разбегается неповторимый
Терпкий звук на широкой волне.

Это старая честь боевая

Говорит:

— Я земля. Я земля,—
Под землей провода расправляя
И корнями овсов шевеля.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

I

Как дерево поверх лесной травы
Распластывает листьев пятерню
И, опираясь о кустарник, вкось
И вширь и вверх распространяет ветви,
Я вытянулся понемногу. Мышцы
Набухли у меня, и раздалась
Грудная клетка. Легкие мои
Наполнил до мельчайших альвеол
Колючий спирт из голубого кубка,
И сердце взяло кровь из жил, и жилам
Вернуло кровь, и снова взяло кровь, —
И было это как преображенье
Простого счастья и простого горя
В прелюдию и фугу для органа.

II

Меня хватило бы на все живое —
И на растения, и на людей,

**В то время умиравших где-то рядо́м
В страданиях невысказанных, как Марсий,
С которого содрали кожу. Я бы
Ничуть не стал, отдав им жизнь, бедней
Ни жизнью, ни самим собой, ни кровью,
Но сам я стал как Марсий. Долго жил
Среди живых, и сам я стал как Марсий.**

III

**Бывает, в летнюю жару лежишь
И смотришь в небо, и горячий воздух
Качается, как люлька, над тобой,
И вдруг находишь странный угол чувств:
Есть в этой люльке щель, и сквозь нее
Проходит холод запредельный, будто
Какая-то иголка ледяная...**

IV

**Как дерево с подмытого обрыва,
Разбрызгивая землю над собой,
Обрушивается корнями вверх,
И быстрина перебирает ветви,
Так мой двойник по быстрине иной
Из будущего в прошлое уходит.
Вослед себе я с высоты смотрю
И за сердце хватаюсь. Кто мне дал
Трепещущие ветви, мощный ствол
И слабые, беспомощные корни?
Тлетворна смерть, но жизнь еще тлетворней,
И необуздан жизни произвол.
Уходишь, Лазарь? Что же, уходи!
Еще горит полнеба за спиною.
Нет больше связи меж тобой и мною.
Спи, жизнелюбец! Руки на груди
Сложи и спи!**

V

Приди, возьми, мне ничего не надо,
Люблю — отдам и не люблю — отдам.

Я заменить хочу тебя, но если
Я говорю, что перейду в тебя,
Не верь мне, бедное дитя, я лгу...

О эти руки с пальцами, как лозы,
Открытые и влажные глаза,
И раковины маленьких ушей,
Как блюдца, полные любовной песни,
И крылья, ветром выгнутые круто..

Не верь мне, бедное дитя, я лгу,
Я буду порываться, как казнимый,
Но не могу я через отчужденье
Переступить, и не могу твоим
Крылом плеснуть, и не могу мизинцем
Твоим коснуться глаз твоих, глазами
Твоими посмотреть. Ты во сто крат
Сильней меня, ты — песня о себе,
А я — наместник дерева и неба
И осужден твоим судом за песню.

ЧЕМ ПАХНЕТ СНЕГ

Был первый снег, как первый смех
И первые шаги ребенка.
Глядишь — он выровнен, как мех,
На елках, на березах снег, —
Чем не снегуркина шубенка?
И лунки — по одной на всех:
Солонка или не солонка,
Но только завтра, как на грех,
Во всем преобразится снег.

Зима висит на хвойных лапах,
По-праздничному хороша,
Арбузный гоголевский запах —
Ее декабрьская душа.

В бумажных колпаках и шляпах,
Тряпье в чулане вороша,
Усы наводят жженой пробкой,
Румянец — свеклой; кто в очках,
Кто скалку схватит впопыхах
И в двери, с полною коробкой
Огня бенгальского в руках.

Факир, вампир, гусар с цыганкой,
Коза в тулупе вверх изнанкой,
С пеньковой бородой монах
Гурьбой закладывают сани,
Под хохот бьется бубенец,
От ряженных воспоминаний
Зима устанет наконец.

И — никого, и столбик ртути
На милость стужи сдастся днем,
В малиновой и дымной смуте
И мы пойдем своим путем,
Почуем запах госпитальный
Сплошного снежного пласта,
Дыханье ступит, как хрустальный
Морозный ангел, на уста.

И только в марте потеплеет,
И, как на карте, запестреет
Там косогор, там буерак,
А там лозняк, а там овраг.

Сойдешь с дороги — вязнут ноги,
Передохни, когда не в спех,
Постой немного при дороге:
Весной бензином пахнет снег.

Бензином пахнет снег у всех,
В любом краю, но в Подмосковьё
Особенно, и пахнет кровью,
Остался этот запах с тех
Времен, когда сороковые
По снегу в гору свой доспех
Тащили годы чуть живые...

Уходят души снеговые,
И остается вместо вех
Бензин, которым пахнет снег.

МЩЕНИЕ АХИЛЛА

Фиолетовой от зноя,
Остывающей рукой
Рану смертную потрогал
Умиравший Патрокл,

И последнее, что слышал, —
Запредельный вой тетив,
И последнее, что видел, —
Пальцы склеивает кровь.

Мертв лежит он в чистом поле,
И Ахилл не пьет, не ест,
И пока ломает руки,
Щит кует ему Гефест.

Равнодушно пьют герои
Хмель времен и хмель могил,
Мчит вокруг горящей Трои
Тело Гектора Ахилл.

Пожалел Ахилл Приама,
И несет старик Приам
Мимо дома, мимо храма
Жертву мстительным богам.

Не Ахилл разрушит Трою,
И его лучистый щит
Справедливою рукою
Новый мститель сокрушит.

И еще на город ляжет
Семь пластов сухой земли,
И стоит Ахилл по плечи
В щебне, прахе и золе.

Так не дай пролить мне крови,
Чистой, грешной, дорогой,
Чтобы клейкой красной глины
В смертный час не мять рукою.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Еще в скорлупе мы висим на хвощах
Мы — ранняя проба природы,
У нас еще кровь не красна, и в хрящах
Шумят силурийские воды,

Еще мы в пещере костра не зажгли
И мамонтов не рисовали,

Ни белого неба, ни черной земли
 Богами еще не назвали,

А мы уже в горле у мира стоим
 И бомбою мстим водородной
Еще не рожденным потомкам своим
 За собственный грех первородный.

Ну что ж, златоверхие башни смахнем,
 Развеем число Галилея
И Моцарта флейту продумем огнем,
 От первого тлена хмелея.

Нам снится немая, как камень, земля
 И небо, нагое без птицы,
И море без рыбы и без корабля,
 Сухие, пустые глазницы.

КНИГА ТРАВЫ

О нет, я не город с кремлем над рекой,
Я разве что герб городской.

Не герб городской, а звезда над щитком
На этом гербе городском.

Не гостя небесная в черни воды,
Я разве что имя звезды.

Не голос, не платье на том берегу,
Я только светиться могу.

Не луч световой у тебя за спиной,
Я — дом, разоренный войной.

Не дом на высоком валу крепостном,
Я — память о доме твоём.

Не друг твой, судьбою ниспосланный друг,
Я — выстрела дальнего звук.

В приморскую степь я тебя уведу,
На влажную землю паду,

И стану я книгой младенческих трав,
К родимому лону припав.

СТИРКА БЕЛЬЯ

Марина стирает белье.
В гордыне шипучую пену
Рабочие руки ее
Швыряют на голую стену.

Белье выжимает. Окно —
На улицу настежь, и платье
Развешивает.

Все равно,
Пусть видят и это распятье.

Гудит самолет за окном,
По тазу расходится пена,
Впервой надрывается днем
Воздушной тревоги сирена.

От серого платья в окне
Темнеют четыре аршина
До двери.

Как в речке на дне —
В зеленых потемках Марина.

Два месяца ровно со лба
Отбрасывать пряди упрямо,
А дальше хозяйка-судьба,
И переупрямит над Камой...

КАК ДВАДЦАТЬ ДВА ГОДА ТОМУ НАЗАД

И что ни человек, то смерть, и что ни
Былинка, то в огонь и под каблук,
Но мне и в этом скрежете и стоне
Другая смерть слышнее всех разлук.

Зачем — стрела — я не сгорел на лоне
Пожарища? Зачем свой полукруг
Не завершил? Зачем я на ладони
Жизнь, как стрижа, держу? Где лучший друг,

Где божество мое, где ангел гнева
И праведности? Справа кровь и слева
Кровь. Но твоя, бескровная, стократ
Смертельней.

Я отброшен тетивой
Войны, и глаз твоих я не закрою.
И чем я виноват, чем виноват?

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ДВА ГОДА

Не речи,—

нет, я не хочу
Твоих сокровищ — клятв и плачей,—
Пера я не переучу
И горла не переиначу,—

Не смелостью пред смертью,—

ты

Все замыслы довоплотила
В свои тетради до черты,
Где кончились твои чернила,—

Не первородству,—

я отдам

Свое, чтобы тебе по праву
На лишний день вручили там,
В земле,—твою земную славу,—

Не дерзости твоих страстей
И не тому, что все едино,
А только памяти твоей
Из гроба научи, Марина!

Как я боюсь тебя забыть
И променять в одно мгновенье
Прямую фосфорную нить
На удвоенье, утроенье
Рифм —

и в твоём стихотворенье
Тебя опять похоронить.

МОГИЛА ПОЭТА

Памяти Н. А. Заболоцкого

I

За мертвым сиротливо и пугливо
Душа тянулась из последних сил,
Но мне была бессмертьем перспектива
В минувшем исчезающих могил.

Листва, трава — все было слишком живо,
Как будто лупу кто-то положил
На этот мир смущенного порыва,
На эту сеть пульсирующих жил.

Вернулся я домой, и вымыл руки,
И лег, закрыв глаза. И в смутном звуке,
Проникшем в комнату из-за окна,

И в сумерках, нависших, как
в предгрозые,
Без всякого бессмертья, в грубой прозе
И наготе стояла смерть одна.

II

Венков еловых птичьих лапки
В снегу остались от живых.
Твоя могила в белой шапке,
Как царь, проходит мимо них,
Туда, к распахнутым воротам,
Где ты не прах, не человек,
И в облаках за поворотом
Восходит снежный твой ковчег.

Не человек, а череп века,
Его чело, язык и медь.

Заката огненное веко
Не может в небе догореть.

ЛАСТОЧКИ

Летайте, ласточки, но в клювы не берите
Ни пилки, ни сверла, не делайте открытий,
Не подражайте нам; довольно и того,
Что вы по-варварски свободно говорите,
Что зоркие зрачки в почетной вашей свите
И первой зелени святое торжество.

Я в Грузии бывал, входил и я когда-то
По щебню и траве в пустынный храм Баграта —
В кувшин расколотый, и над жерлом его
Висела ваша сеть. И Симон Чиковани
(А я любил его, и мне он был как брат)
Сказал, что на земле пред вами виноват —
Забыл стихи сложить о легком вашем стане,
Что в детстве здесь играл, что, может быть, Баграт
И сам с ума сходил от ваших восклицаний.

Я вместо Симона хвалу вам воздаю.
Не подражайте нам, но только в том краю,
Где Симон спит в земле, вы спойте, как в дурмане,
На языке своем одну строку мою.

ДОРОГА

Н. Л. Степанову

Я врезался в возраст учета
Не сдавшихся возрасту прав,
Как в город из-за поворота
Железнодорожный состав.

Еще я в дымящихся звездах
И чертополохе степей,
И жаркой воронкою воздух
Стекает по коже моей.

Когда отдышаться сначала
Не даст мне мое божество,
Я так отойду от вокзала
Уже без себя самого —

Пойду под уклон за подмогой,
Прямую сгибая в дугу,—
И кто я пред этой дорогой?
И чем похвалиться могу?

РУКОПИСЬ

А. А. Ахматовой

Я кончил книгу и поставил точку
И рукопись перечитать не мог.
Судьба моя сгорела между строк,
Пока душа меняла оболочку.

Так блудный сын срывает с плеч сорочку,
Так соль морей и пыль земных дорог

Благословляет и клянет пророк,
На ангелов ходивший в одиночку.

Я тот, кто жил во времена мои,
Но не был мной. Я младший из семьи
Людей и птиц, я пел со всеми вместе

И не покину пиршества живых —
Прямой гербовник из семейной чести,
Прямой словарь их связей корневых.

* * *

Стелил я снежную постель,
Луга и рощи обезглавил,
К твоим ногам прильнуть заставил
Сладчайший лавр, горчайший хмель.

Но марта не сменил апрель
На страже росписей и правил.
Я памятник тебе поставил
На самой слезной из земель.

Под небом северным стою
Пред белой, бедной, непокорной
Твоею высотой горной

И сам себя не узнаю,
Один, один в рубахе черной
В твоём грядущем, как в раю.

* * *

Когда у Николы Морского
Лежала в цветах нищета,
Смирненное чуждое слово
Светилось темно и сурово
На воске державного рта.

Но смысл его был непонятен,
А если понять — не сберечь,
И был он, как небыль, невнятен
И разве что — в трепете пятен
Вокруг оплывающих свеч.

И тень бездомовной гордыни
По черному невшскому льду,
По снежной балтийской пустыне
И по Адриатике синей
Летела у всех на виду.

* * *

Домой, домой, домой,
Под сосны в Комарове...
О смертный ангел мой
С венками в изголовье,
В косынке кружевной,
С крылами наготове!

Как для деревьев снег,
Так для земли не бремя
Открытый твой ковчег,

**Плывущий перед всеми
В твой двадцать первый век,
Из времени во время.**

**Последний луч несла
Зима над головою,
Как первый взмах крыла
Из-под карельской хвои,
И звезды ночь зажгла
Над снежной синевою.**

**И мы тебе всю ночь
Бессмертье обещали,
Просили нам помочь,
Покинуть дом печали,
Всю ночь, всю ночь, всю ночь.
И снова ночь в начале.**

*** * ***

**По льду, по снегу, по жасмину,
На ладони, снега бледней,
Унесла в свою домовину
Половину души, половину
Лучшей песни, спетой о ней.**

**Похвалам земным не доверясь,
Завершив земной полукруг,
Полупризнанная, как ересь,
Через полог морозный, через
Вихри света —
 смотрит на юг.**

Что же видят незримые взоры
Недоверчивых светлых глаз?
Раздвигающиеся створы
Верст и зим иль костер, который
Заключает в объяття нас?

* * *

И эту тень я проводил в дорогу
Последнюю — к последнему порогу,
И два крыла у тени за спиной,
Как два луча, померкли понемногу.

И год прошел по кругу стороной.
Зима трубит из просеки лесной.
Нестройным звоном отвечает рогу
Карельских сосен морок слюдяной.

Что, если память вне земных условий
Бессильна день восстановить в ночи?
Что, если тень, покинув землю, в слове
Не пьет бессмертья?

Сердце, замолчи,
Не лги, глотни еще немного крови,
Благослови рассветные лучи.



IV

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Я не буду спать
Ночью новогодней,
Новую тетрадь
Я начну сегодня.

Ради смысла дат
И преображенья
С головы до пят
В плоть стихотворенья —

Год переберу,
Месяцы по строчке
Передам перу
До последней точки.

Где оно — во мне
Или за дверями,
В яви или сне
За семью морями,

В пляске по снегам
Белой круговерти,—
Я не знаю сам,
В чем мое бессмертье,

Но из декабря
Брошусь к вам, живущим
Вне календаря,
Наравне с грядущим.

О, когда бы рук
Мне достало на год
Кончить новый круг!..
Строчки сами лягут...

* * *

Стол накрыт на шестерых —
Розы да хрусталь...
А среди гостей моих —
Горе да печаль.

И со мною мой отец,
И со мною брат.
Час проходит. Наконец
У дверей стучат.

Как двенадцать лет назад,
Холодна рука,
И немодные шумят
Синие шелка,

И вино поет из тьмы,
И звенит стекло:
«Как тебя любили мы,
Сколько лет прошло».

Улыбнется мне отец,
Брат нальет вина,
Даст мне руку без колец,
Скажет мне она:

«Каблучки мои в пыли,
Выцвела коса,
И звучат из-под земли
Наши голоса».

ОРБИТА

I

Во вселенной наш разум счастливый
Ненадежное строит жилье,
Люди, звезды и ангелы живы
Шаровым натяженьем ее.
Мы еще не зачали ребенка,
А уже у него под ногой
Никуда выгибается пленка
На орбите его круговой.

II

Наша кровь не ревнует по дому,
Но зияет в грядущем пробел,
Потому что земное земному
На земле полагает предел.
Обезумевшей матери снится
Верещанье четверки коней,
Фаэтон, и его колесница,
И багровые кубы камней.

III

На пространство и время ладони
Мы наложим еще с высоты,
Но поймем, что в державной короне
Драгоценней звезда нищеты,
Нищеты, и тщеты, и заботы
О нерадостном хлебе своем,
И с чужими созвездьями счесть
На земле материнской сведем.

* * *

Порой по улице бредешь —
Нахлынет вдруг невесть откуда
И по спине пройдет, как дрожь,
Бессмысленная жажда чуда.

Не то чтоб встал кентавр какой
У магазина под часами,
Не то чтоб на Серпуховской
Открылось море с парусами,

Не то чтоб захотеть — и ввысь
Кометой взвиться над Москвою,—
Нет, ты попробуй-ка пройдишь
На полвершка над мостовою,

Когда комета не взвилась,
И это назови удачей.
Жаль, у пространств иная связь
И времена живут иначе.

На белом свете чуда нет,
Есть только ожиданье чуда.
На том и держится поэт,
Что эта жажда ниоткуда.

Она ждала тебя сто лет,
Под фонарем изнемогая,
Ты ею дорожи, поэт,
Она — твоя Серпуховская,

Твой город, и твоя земля,
И невзлетевшая комета,
И даже парус корабля,
Сто лет как сгинувший со света.

Затем и на земле живем,
Работаем и узнаем
Друг друга по ее приметам,
Что ей придется стать стихом,
Когда и ты рожден поэтом.

* * *

Когда купальщица с тяжелою косою
Выходит из воды, одна в полдневном зное,
И прячется в тени, тогда ручей лесной
В зеленых зеркальцах поет совсем иное.

Над хрупкой чешуей светло-студеных вод
Сторукий бог ручьев свои рога склоняет,
И только стрекоза, как первый самолет,
О новых временах напоминает.

СОКРАТ

Я не хочу ни власти над людьми,
Ни почестей, ни войн победоносных,
Пусть я застыну, как смола на соснах,
Но я не царь, я из другой семьи.

Дано и вам, мою цикуту пьющим,
Пригубить немоту и глухоту.
Мне рубище раба не по хребту,
Я не один, но мы еще в грядущем.

Я плоть от вашей плоти, высота
Всех гор земных и глубина морская.
Как раковину мир переполняя,
Шумит по-олимпийски пустота.

ПРЕВРАЩЕНИЕ

• Я безупречно был вооружен,
И понял я, что мне клинок не нужен,
Что дудкой Марса я заморожен
И в боевых доспехах безоружен,
Что с плеч моих плывет на землю гнет,
Куда меня судьба ни повернет,

Что тяжек я всей тяжестью земною,
Как якорь, волочащийся по дну,
И цепь разматывается за мною,
А я себя матросам не верну...
И пожелал я
 легкости небесной,
Сестры чудесной
 поросли древесной.

Затосковал — и приоткрыл лицо,
И ласточки снуют, как пальцы пряжи,
Трава просовывает копьцо
Сквозь каждое кольцо моей рубахи,
Лежу,—
 а жилы крепко сращены
С хрящами придорожной бузины.

ТОЛЬКО ГРЯДУЩЕЕ

Рассчитанный на одного, как номер
Гостиницы — с одним окном, с одной
Кроватью и одним столом, я жил
На белом свете, и моя душа

Привыкла к телу моему. Бывало,
В окно посмотрит, полежит в постели,
К столу присядет — и скрипит пером,
Творя свою нехитрую работу.

А за окном ходили горожане,
Грузовики трубили, дождь шумел,
Посвистывали милиционеры,
Всходило солнце — наступало утро,
Всходили звезды — наступала ночь,
И небо то светлело, то темнело.

И город полюбил я, как приезжий,
И полон был счастливых впечатлений,
Я новое любил за новизну,
А повседневное — за повседневность,
И так как этот мир четырехмерен,
Мне будущее приходилось в пору.

Но кончилось мое уединенье,
В пятнадцатирублевый номер мой
Еще один вселился постоялец,
И новая душа плодиться стала,
Как хромосома на стекле предметном.
Я собственной томился теснотой,
Хотя и раздвигался, будто город,
И слободами громоздился.

Я

Мост перекинул через речку.

Мне

Рабочих не хватало. Мы пылили
Цементом, грохотали кирпичом
И кожу бугорчатую земли
Бульдозерами до костей сдирали.

Хвала тому, кто потерял себя!
Хвала тебе, мой быт, лишенный быта!
Хвала тебе, благословенный тензор,
Хвала тебе, иных времен язык!
Сто лет пройдет — нам не понять его,
Я перед ним из «Слова о полку»,
Лежу себе, побитый татарвой:
Нас тысяча на берегу Каялы,
Копье торчит в траве,
 а на копье
Степной орел седые перья чистит.

СЛОВО

Слово только оболочка,
Пленка, звук пустой, но в нем
Бьется розовая точка,
Странным светится огнем,

Бьется жилка, вьется живчик,
А тебе и дела нет,
Что в сорочке твой счастливчик
Появляется на свет.

Власть от века есть у слова,
И уж если ты поэт
И когда пути другого
У тебя на свете нет,

Не описывай заране
Ни сражений, ни любви,
Опасайся предсказаний,
Смерти лучше не зови!

Слово только оболочка,
Пленка жребиев людских,
На тебя любая строчка
Точит нож в стихах твоих.

ПЕРЕВОДЧИК

Шах с бараньей мордой — на троне.
Самарканд — на шахской ладони.
У подножья — лиса в чалме
С тысячью двестишый в уме.
Розы сахаринной породы,
Соловьиная пахлава.
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

Полуголый палач в застенке
Воду пьет и тарашит зенки.
Все равно. Мертвеца в рядно
Зашивают, пока темно.
Спи без просыпу, царь природы,
Где твой меч и твои права?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

Да пребудет роза редифом,
Да царит над голодным тифом
И соленой паршой степей
Лунный выкормыш — соловей.
Для чего я лучшие годы
Продаю за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

Зазубрил ли ты, переводчик,
Арифметику парных строчек?
Каково тебе по песку
Волочить старуху-тоску?
Ржа пустыни шепотью соды
Ни жива шипит, ни мертва.
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

* * *

Я долго добивался,
Чтоб из стихов своих
Я сам не порывался
Уйти, как лишний стих.

Где свистуны свистели
И щелкал щелкопер,
Я сам свое веселье
Отправил под топор.

Быть может, идиотство
Сполна платить судьбой
За паспортное сходство
Строки с самим собой.

А все-таки уставлю
Свои глаза на вас,
Себя в живых оставлю
Навек или на час,

Оставлю в каждом звуке
 И в каждой запятой
 Натруженные руки
 И трезвый опыт свой.

Вот почему без страха
 Смотрю себе вперед,
 Хоть рифма, точно плаха,
 Меня сама берет.

* * *

Вы, жившие на свете для меня,
 Моя броня и кровная родня
 От Алигьери до Скиапарелли¹, —
 Спасибо вам, вы хорошо горели.

А разве я не хорошо горю
 И разве равнодушием корю —
 Вас, для кого я столько жил на свете, —
 Трава и звезды, бабочки и дети?
 Мне шапку бы и пред тобою снять,

Мой город —
 весь как нотная тетрадь,
 Еще не тронутая вдохновеньем,
 Пока июль по каменным ступеням
 Литаврами не катится к реке,
 Пока перо не прикипит к руке...

¹ Дж. Скиапарелли — ит. астроном, исследователь так называемых каналов Марса.

* * *

Мне бы только теперь до конца не раскрыться,
Не раздать бы всего, что напела мне птица,
Белый день наболтал, наморгала звезда,
Намигала вода, накислола кислица,
На прожиток оставить себе навсегда
Крепкий шарик в крови, полный света и чуда,
А уж если дороги не будет назад,
Так втянуться в него, и не выйти оттуда,
И — в аорту, неведомо чью, наугад.

* * *

Мне опостытели слова, слова, слова,
Я больше не могу превозносить права
На речь разумную, когда всю ночь о крышу
В отрепьях, как вдова, колотится листва.
Оказывается, я просто плохо слышу,
И неразборчива ночная речь вдовства.
Меж нами есть родство. Меж нами нет родства.
И если я твержу деревьям сумасшедшим,
Что у меня в росе по локоть рукава,
То, кроме стона, им уже ответить нечем.

КОНЕЦ НАВИГАЦИИ

В затонах остывают пароходы,
Чернильные загустевают воды,
Свинцовая темнеет белизна,
И если впрямь земля болеет нами,

То стала выздоравливать она —
Такие звезды плещут над снегами,
Такая наступила тишина,
И вот уже из ледяного плена
Едва звучит последняя сирена.

* * *

Жизнь меня к похоронам
Приучила понемногу.
Соблюдаем, слава богу,
Очередность по годам.

Но ровесница моя,
Спутница моя бывая,
Отошла, не соблюдая
Зыбких правил бытия.

Несколько никчемных роз
Я принес на отпеванье,
Ложное воспоминанье
Вместе с розами принес.

Будто мы невесть куда
Едем с нею на трамвае,
И нисходит дождевая
Радуга на провода.

И при желтых фонарях
В семицветном оперенье
Слезы счастья на мгновенье
Загорятся на глазах,

И щека еще влажна,
И рука еще прохладна,
И она еще так жадно
В жизнь и счастье влюблена.

В морге млечный свет лежит
На серебряном газете,
И, за эту смерть в ответе,
Совесьть плачет и дрожит,

Тщетно силясь хоть чуть-чуть
Сдвинуть маску восковую
И огласку роковую
Жгучей солью захлестнуть.

Сказки и рассказы

РУСАЛКА

Западный ветер погнал облака.
Забеспокоилась Клязьма-река.

С первого августа дочке неможется,
Вон как скукожилась черная кожица,

Слушать не хочет ершей да плотниц,
Губ не синит и не красит ресниц.

— Мама-река моя, я не упрямая,
Что ж это с гребнем не сладит рука моя?

-

Глянула в зеркало — я уж не та,
Канула в омут моя красота.

Замуж не вышла, детей не качала я,
Так почему ж я такая усталая?

Клонит ко сну меня, тянет ко дну,
Вот я прилягу, вот я усну.

— Свет мой, икринка, лягушечья спинушка,
Спи до весны, не кручинься, Иринушка!

РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН

Румпельштильцхен из сказки немецкой

Говорил:

— Всех сокровищ на свете
Мне живое милей!
Мне живое милей!
Ждут подземные няньки,
А в детской —
Во какие кроты
Неземной красоты,
Но всегда не хватает детей!

Обманула его королева
И не выдала сына ему,
И тогда Румпельштильцхен от гнева
Прыгнул,
 за ногу взялся,
Дернул
 и разорвался
В отношении: два к одному,

И над карликом дети смеются,
И не жалко его никому,
Так смеются, что плечи трясутся,
Над его сумасшедшей тоской
И над тем, что на две половинки —
Каждой по рукаву и штанинке —
Сам свое подземельное тельце
Разорвал он своею рукой.

Непрактичный и злобный какой!

СЕРЕБРЯНЫЕ РУКИ

Девочка Серебряные Руки
Заблудилась под вечер в лесу.
В ста шагах разбойники от скуки
Свистом держат птицу на весу.

Кони спотыкаются лихие,
Как бутылки, хлопает стрельба,
Птичьи гнезда и сучки сухие
Обирает поверху судьба.

— Ой, березы вы мои, березы,
Вы мои пречистые ручьи,
Расступитесь и омойте слезы,
Расплетите косыньки мои,

Приденьте корнем и корою,
Положите на свою кровать,
Помешайте злобе и разбою
Руки мои белые отнять!

ДВЕ ЯПОНСКИЕ СКАЗКИ

I. Бедный рыбак

Я рыбак, а сети
В море унесло.
Мне теперь на свете
Пусто и светло.

И моя отрада
В том, что от людей

Ничего не надо
Нищете моей.

Мимо всей Вселенной
Я пойду, смиренный,
Тихий и босой,
За благословенной
Утренней звездой.

II. Флейта

Мне послышался чей-то
Затихающий зов,
Бесприютная флейта
Из-за гор и лесов.

Наклоняется ива
Над студеным ручьем,
И ручей торопливо
Говорит ни о чем,

Осторожный и звонкий,
Будто веретено,
То всплывает в воронке,
То уходит на дно.

ДВЕ ЛУННЫЕ СКАЗКИ

I. Луна в последней четверти

В последней четверти луна
Не понапрасну мне видна.
И желтовата и красна.
В последней четверти луна,

И беспокойна и смутна:
Земле принадлежит она.

Смотрю в окно и узнаю
В луне земную жизнь мою,
И в смутном свете узнаю
Слова, что на земле пою,
И как на черепке стою
На срезанном ее краю.

А что мне видно из окна?
За крыши прячется луна,
И потому как дым смутна,
Что на ущерб идет она,
И потому, что так темна,
Влюбленным нравится луна.

II. Луна и коты

Прорвав насквозь лимонно-серый
Опасный конус высоты,
На лунных крышах, как химеры,
Вопят гундосые коты.

Из желобов ночное эхо
Выталкивает на асфальт
Их мефистофельского смеха
Коленчатый и хриплый альт.

И в это дикое искусство
Влагает житель городской
Свои предчувствия и чувства
С оттенком зависти мужской.

Он верит, что в природе ночи
И тьмы лоскут, и сна глоток,
Что ночь — его чернорабочий.

А сам глядит на лунный рог,
Где сходятся, как в средоточье,
Котов египетские очи,
И пьет бессонницы белок.

ТЕЛЕЦ, ОРИОН, БОЛЬШОЙ ПЕС

Могучая архитектура ночи!
Рабочий ангел купол повернул,
Вращающийся на древесных кронах,
И обозначились между стволами
Проемы черные, как в старой церкви,
Забытой богом и людьми.

Но там
Взошли мои алмазные Плеяды.

Семь струн привязывает к ним Сапфо
И говорит:

«Взошли мои Плеяды,
А я одна в постели, я одна,
Одна в постели!»

Ниже и левей
В горячем персиковом блеске встали,
Как жертва у престола, золотые
Рога Тельца
и глаз его, горящий
Среди Гиад,
как Ветхого завета

Еще одна скрижаль.

Проходит время,
Но — что мне время?

Я терпелив,

я подождать могу,
Пока взойдет за жертвенным Тельцом
Немыслимое чудо Ориона,
Как бабочка безумная, с купелью
В своих скрипучих проволочных лапках,
Где были крещены Земля и Солнце.

Я подожду,

пока в лучах стеклянных
Сам Сириус —
с египетской, загробной,
собачьей головой —

Взойдет.

Мне раз еще увидеть суждено
Сверкающее это полотенце,
Божественную перемычку счастья,
И что бы люди там ни говорили —
Я доживу, переберу позвездно,
Пересчитаю их по каталогу,
Перечитаю их по книге ночи.

ЗВЕЗДНЫЙ КАТАЛОГ

До сих пор мне было невдомек —
Для чего мне звездный каталог?
В каталоге десять миллионов
Номеров небесных телефонов,

Десять миллионов номеров
Телефонов марев и миров,
Полный свод свеченья и мерцанья,
Список абонентов мироздания.
Я-то знаю, как зовут звезду,
Я и телефон ее найду,
Пережду я очередь земную,
Поверну я азбуку стальную:

— А-13-40-25.

Я не знаю, где тебя искать.

Запоем мембрана телефона:

— Отвечает альфа Ориона.

Я в дороге, я теперь звезда,

Я тебя забыла навсегда.

Я звезда — денницына сестрица,

Я тебе не захочу присниться,

До тебя мне дела больше нет.

Позвони мне через триста лет.

КУЗНЕЧИКИ

I

Тикают ходики, ветер горячий
В полдень снует челноком по Москве,
Люди бегут к поездам, а на даче
Пляшут кузнечики в желтой траве.

Кто не видал, как сухую солому
Пилит кузнечик стальным терпутом?
С каждой минутой по новому дому
Спичечный город растет за бугром.

Если бы мог я прийти на субботник,
С ними бы стал городить городок,
Я бы им строил, бетонщик и плотник,
Каменщик, я бы им камень толк.

Я бы точил топоры — я точильщик,
Я бы ковать им помог — я кузнец,
Кровельщик я, и стекольщик, и пыльщик.
Я бы им песню пропел, наконец.

II

Кузнечик на лугу стрекочет
В своей защитной плащ-палатке,
Не то кует, не то пророчит,
Не то свой луг разрезать хочет
На трехвершковые площадки,
Не то он лугового бога
На языке зеленом просит:
— Дай мне пожить еще немного,
Пока травы коса не косит!

ЧЕТВЕРТАЯ ПАЛАТА

Девочке в сером халате,
Аньке из детского дома,
В женской четвертой палате
Каждая малость знакома —

Кружка и запах лекарства,
Няньки дежурной указки
И тридевятое царство —
Пятна и трещины в краске.

Будто синица из клетки,
Глянет из-под одеяла:
Не просыпались соседки,
Утро еще не настало?

Востренький нос, восковые
Пальцы, льняная косица,
Мимо проходят живые,
— Что тебе, Анька?

— Не спится.

Ангел больничный за шторой
Светит одеждой туманной.
— Я за больной.

— За которой?

— Я за детдомовской Анной.

БЕССОННИЦА

Мебель трескается по ночам.
Где-то каплет из водопровода.
От вседневного груза плечам
В эту пору дается свобода,
В эту пору даются вещам
Бессловесные души людские,
И слепые,

немые,

глухие

Разбредаются по этажам.
В эту пору часы городские
Шлют секунды

туда

и сюда,

И плетутся хромые,
 кривые,
 Подымаются в лифте живые,
 Неживые
 и полуживые,
 Ждут в потемках, где каплет вода,
 Вынимают из сумок стаканы
 И приплясывают, как цыганы,
 За дверями стоят, как беда,
 Сверла медленно вводят в затворы
 И сейчас оборвут провода.
 Но скорее они — кредиторы
 И пришли навсегда, навсегда,
 И счета принесли.

Невозможно

Воду в ступе, не спавши, толочь,
 Невозможно заснуть, — так тревожна
 Для покоя нам данная ночь.

ТЕЛЕФОНЫ

Номера — имена телефонов
 Постигаются сразу, когда
 Каждой вести пугаешься, тронув
 Змеевидные их провода.

Десять букв алфавита без смысла,
 Десять цифр из реестра судьбы
 Сочетаются в странные числа
 И года громоздят на горбы.

Их щемящему ритму покорный,
Начинаешь цвета различать,
Может статься, зеленый и черный —
В-1-27-45.

И по номеру можно дознаться,
Кто стоит на другой стороне,
Если взять телефонные святцы
И разгадку найти, как во сне,

И особенно позднюю ночью,
В час, когда по ошибке звонят,
Можно челюсть увидеть воочью,
Подбирая число наугад.

ИМЕНА

А ну-ка, Македонца или Пушкина
Попробуйте назвать не Александром,
А как-нибудь иначе!

Не пытайтесь.

Еще Петру Великому придумайте
Другое имя!

Ничего не выдет.

Встречался вам когда-нибудь юродивый,
Которого не называли Гришей?
Нет, не встречался, если не соврать.

И можно кожу заживо сорвать,
Но имя к нам так крепко припечатано,
Что силы нет переименовать,

Хоть каждое затерто и захватано.
У нас не зря про имя говорят: оно
Ни дать ни взять родимое пятно.

Недавно изобретена машинка:
Приставят к человеку, и — глядишь —
Ушная мочка, малая морщинка,
Ухмылка, крылышко ноздри, горбинка,—

Пящит, как бы комарик илимышь:
— Иван!

— Семен!

— Василий!

Худо, братцы,
Чужая кожа пристает к носам.

Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам.

ЛАЗУРНЫЙ ЛУЧ

Тогда я запер на замок дверь своего
дома и ушел вместе с другими,
Г. Уэллс

Сам не знаю, что со мною:
И последыш и пророк,
Что ни сбудется с землею,
Вижу вдоль и поперек.

Кто у мачехи-Европы
Молока не воровал?
Мотоциклы, как циклопы,
Заглотали перевал,

Шелестящие машины
Держат путь на океан,
И горячий дух резины
Дышит в пешех горожан.

Слесаря, портные, прачки
По шоссе, как муравьи,
Катят каторжные тачки,
Волокут узлы свои.

Потеряла мать ребенка,
Воздух ловит рыбьим ртом,
А из рук торчит пеленка
И бутылка с молоком.

Паралитик на коляске
Боком валится в кювет,
Бельма вылезли из маски,
Никому и дела нет.

Спотыкается священник
И бормочет:
— Умер бог, —
Голубки бумажных денег
Вылетают из-под ног.

К пристаням нельзя пробиться,
И Европа пред собой
Смотрит, как самоубийца,
Не мигая, на прибор.

В океане по колена,
Белый и большой, как бык,
У причала роет пену,
Накренься, «транссатлантик».

А еще одно мгновение —
И от Страшного суда,
Как надежда на спасенье,
Он отвалит навсегда.

По сто раз на дню, как брата,
Распинали вы меня,
Нет вам к прошлому возврата,
Вам подземка не броня.

— Ууу-ла! Ууу-ла! —

марсиане

Воют на краю Земли,
И лазурный луч в тумане
Их треножки зажгли.

НОВОСЕЛЬЕ

Исполнены диллювиальной веры
В извечный быт у счастья под крылом,
Они переезжали из пещеры
В свой новый дом.

Не странно ли? В квартире так недавно
Царили кисть, линейка и алмаз,
И с чистотою, нимфой богоровной,
Бог пустоты здесь прятался от нас.

Но четверо нечленов профсоюза —
Атлант, Сизиф, Геракл и Одиссей —
Контейнеры, трещавшие от груза,
Внесли, бахвалясь алчностью своей.

По-жречески приплясывая рьяно,
С молитвенным заклятием «наддай!»
Втащили Попокатепель дивана,
Малиновый, как первозданный рай,

И, показав, на что они способны,
Без помощи своих железных рук
Вскочили на буфет пятиутробный
И Афродиту подняли на крюк.

Как нежный сгусток розового сада,
Она плыла по морю одеял
Туда, где люстра, как фазан, сияла
И свет зари за шторой умирал.

Четыре мужа, Анадномене
Воздав смущенно страстные хвалы,
Ушли.

Хозяйка, преклонив колени,
Взялась за чемоданы и узлы.

Хозяин расставлял фарфор.

Не всякий

Один сюжет ему придать бы мог:
Здесь были:

свиньи,
чашки
и собаки,
Наполеон
и Китеж-городок.

Он отыскал собранье сочинений
Молоховец —

и в кабинет унес,

И каждый том, который создал гений,
Подставил, как Борей, под пылесос.

Потом, на час покинув нашу эру
И новый дом со всем своим добром,
Вскочил в такси

и покатил в пещеру,
Где ползал в детстве перед очагом.
Там Пень стоял — дубовый, в три объёма,
Хранитель рода и Податель сил.
О, как любил он этот Пень когда-то!
И как берег! И как боготворил!

И Пень теперь в гостиной, в сердцевине
Диковинного капища вещей,
Гордится перед греческой богиней
Неоспоримой древностью своей.

Когда на праздник новоселья гости
Сошлись и дом поставили вверх дном,
Как древле — прадед,

мамонтовы кости

На нем
рубил
хозяин
топором!



V

* * *

Позднее наследство,
Призрак, звук пустой,
Ложный слепок детства,
Бедный город мой.

Тяготит мне плечи
Бремя стольких лет.
Смысла в этой встрече
На поверку нет.

Здесь теперь другое
Небо за окном —
Дымно-голубое,
С белым голубком.

Резко, слишком резко,
Издали видна,
Рдеет занавеска
В прорези окна,

И, не узнавая,
Смотрит мне вослед
Маска восковая
Стародавних лет.

СТИХИ ИЗ ДЕТСКОЙ ТЕТРАДИ

...О, мать Ахайя,
Пробудись, я твой лучник последний...
Из тетради 1921 г.

Почему захотелось мне снова,
Как в далекие детские годы,
Ради шутки не тратить ни слова,
Сочинять величавые оды,

Штурмовать олимпийские кручи,
Нимф искать по лазурным пещерам
И гекзаметр без всяких созвучий
Предпочесть новомодным размерам?

Географию древнего мира
На четверку я помню, как в детстве,
И могла бы Алкеева лира
У меня оказаться в наследстве.

Надо мной не смеялись матросы.
Я читал им:

«О, мать Ахайя!»

Мне дарили они папиросы,
По какой-то Ахайе вздыхая.

За текзамер в холодном вокзале,
Где жила молодая свобода,
Мне военные люди давали
Черный хлеб двадцать первого года.

Значит, шел я по верной дороге,
По кремнистой дороге поэта,
И не правда, что Пан козлоногий
До меня еще сгинул со света.

Босиком, но в буденновском шлеме,
Бедный мальчик в священном дурмане,
Верен той же аттической теме,
Я блуждал без копейки в кармане.

Ямб затасканный, рифма плохая —
Только бредни, постылые бредни,
И достойней:

«О, мать Ахайя,
Пробудись, я твой лучник последний...»

* * *

Мы шли босые, злые,
И, как под снег ракета,
Ложилась мать-Россия
Под конские копыта.

Стояли мы у стенки,
Где холодом тянуло,

Выкатывая зенки,
Смотрели прямо в дуло.

Кто знает щучье слово,
Чтоб из земли солдата
Не подымали снова,
Убитого когда-то?

ЖИЛИ-БЫЛИ

Вся Россия голодала,
Чуть жила на холоду,
Граммофоны, одеяла,
Стулья, шапки, что попало
На пшено и соль меняла
В девятнадцатом году.

Брата старшего убили,
И отец уже ослеп,
Все имущество спустили,
Жили как в пустой могиле,
Жили-были, воду пили
И пекли крапивный хлеб.

Мать согнулась, постарела,
Поседела в сорок лет
И на худенькое тело
Рвань по-нищенски надела;
Ляжет спать — я то и дело:
Дышит мама или нет?

Гости что-то стали редки
В девятнадцатом году.

Сердобольные соседки
Тоже, будто птицы в клетке
На своей засохшей ветке,
Жили у себя в аду.

Но картошки гниловатой
Нам соседка принесла
И сказала:

— Как богато
Жили нищие когда-то.
Бог Россию виноватой
Счел за Гришкины дела.

Вечер был. Сказала:

— Ешьте! —

Подала лепешки мать.
Муза в розовой одежде,
Не являвшаяся прежде,
Вдруг предстала мне в надежде
Не давать ночами спать.

Первое стихотворенье
Сочинял я как в бреду:
«Из картошки в воскресенье
Мама испекла печенье!»
Так познал я вдохновенье
В девятнадцатом году.

* * *

Кухарка жирная у скарред
На сковородке мясо жарит,
И приправляет чесноком,
Шафраном, уксусом и перцем,
И побирушку за окном
Костит и проклиняет с сердцем.

А я бы тоже съел кусок,
Погрыз бараний позвонок
И, как хвояин, кружку пива
Хватил и завалился спать:
Кляните, мол, судите криво,
Голодных сытым не понять.

У, как я голодал мальчишкой!
Тетрадь стихов таскал под мышкой,
Баранку на два дня делил:
Положишь на зубок ошибкой...
И стал жильем певучих сил,
Какой-то невесомой скрипкой.

Сквозил я, как рыбачья сеть,
И над землею мог висеть.
Осенний дождь, двойник мой серый,
Долдонил в уши свой рассказ,
В облаву милиционеры
Ходили сквозь меня не раз.

А фонари в цветных размывах
В тех переулках шелудивых,
Где летом шагу не ступить,
Чтобы влюбленных в подворотне
Не всполошить!.. Я, может быть,
Воров московских был бесплотней,

Я в спальни тенью проникал,
Летал, как пух из одеял,
И молодости клясть не буду
За росчерк звезд над головой,
За глупое пристрастье к чуду
И за карман дырявый свой.

ЕЛЕНА МОЛОХОВЕЦ

...после чего отжимки можно
отдать на кухню людям.

*Е. Молоховец. „Подарок
молодым хозяйкам“. 1911*

Где ты, писательница малосоляная,
Молоховец, холуйка малахольная,
Блаженство десятипудовых туш
Владетелей десяти тысяч душ?
В каком раю? чистилище? мучилище?
Костедробилище? А где твои лещи
Со спаржей в зеве? раки бордолез?
Омары крез? имперский майонез?
Кому ты с институтскими ужимками
Советуешь стерляжьими отжимками
Парадный опрозрачивать бульон,
Чтоб золотым он стал, как миллион,
Отжимки слугам скармливать, чтоб ведали,
Чем нынче наниматели обедали?

Вот ты сидишь под ледяной скалой,
Перед тобою ледяной налой,
Ты вслух читаешь свой завет поваренный,
Тобой хозяйкам молодым подаренный,

И червь насытый у тебя в руке,
В другой — твой череп мямлит в дуршлаге.
Ночная тень, холодная, голодная,
Полубайстрючка, полублагородная...

СТРАУС В 1913 ГОДУ

Показывали страуса в Пассаже.

Холодная коробка магазина,
И серый свет из-под стеклянной крыши,
Да эта керосинка на прилавке —
Он ко всему давным-давно привык.
Нахохлившись, на сонные глаза
Надвинул фиолетовые веки
И посреди пустого помещенья,
Не двигаясь, как чучело, стоял,
Так утвердив негнущиеся ноги,
Чтоб можно было, не меняя позы,
Стоять хоть целый час, хоть целый день
Без всякой мысли, без воспоминаний.

И научился он небытию
И ни на что не обращал вниманья —
Толкнет его хозяин или нет,
Засыплет корму или не засыплет,
И если б даже захотел, не мог
Из этого оцепенья выйти.

* * *

Тогда еще не воевали с Германией,
Тринадцатый год был еще в середине,
Неведеньем в доме болели, как манией,
Как жаждой три пальмы в песчаной пустыне.

У матери пахло спиртовкой, фиалкою,
Лиловой накидкой в шкафу, на распялке;
Все детство мое, по-блаженному жалкое,
В горячей спиртовке и пармской фиалке.

Зато у отца, как в Сибири у ссыльного,
Был плед Гарибальди и Герцен под локтем.
Ванилью тянуло от города пыльного,
От пригорода — конским потом и дегтем.

Казалось, что этого дома хозяева
Навечно в своей довоенной Европе,
Что не было, нет и не будет Сараева,
И где они, эти мазурские топи?..

ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА, 1914

В то лето народное горе
Надело железную цепь,
И тлела по самое море
Сухая и пыльная степь,

И под вечер горькие дали,
Как душная бабья душа,
Багровой тревогой дышали
И бога хулили, греша.

А утром в село, на задворки,
Пришел дезертир босиком,
В белесой своей гимнастерке,
С голодным и темным лицом,

И, словно из церкви икона,
Смотрел он, как шел на ущерб
По ржавому дну небосклона
Алмазный сверкающий серп.

Запомнил я взгляд без движенья,
Совсем из державы иной,
И понял печать отчужденья
В глазах, обожженных войной.

И стало темно. И в молчанье,
Зеленом, глубоком как сон,
Ушел он, и мне на прощанье
Оставил ружейный патрон.

Но сразу, по первой примете,
Узнать ослепительный свет...

.
Как много я прожил на свете!
Столетие! Тысячу лет!

ПОЭТ НАЧАЛА ВЕКА

Твой каждый стих — как чаша яда,
Как жизнь, спаленная грехом,
И я дышу, хоть и не надо,
Нельзя дышать твоим стихом.

Ты бедный мальчик сумасшедший,
С каких-то белых похорон
На пиршество друзей приведший
Колоколов прощальный звон.

Прости меня, я как в тумане
Приникну к твоему плащу
И в черной выношенной ткани
Такую стужу отыщу,

Такой возврат невыносимый
Смертельной юности моей,
Что гул погибельной Цусимы
Твоих созвучий не страшней.

Тогда я стираю руки
И путь держу на твой магнит,
А на земле в последней муке
Внизу —
душа моя скорбят...

КОЛЫБЕЛЬ

Андрею Г.

Она:
Что всю ночь не спишь, прохожий,
Что бредешь — не добредешь,
Говоришь одно и то же,
Спать ребенку не даешь?
Кто тебя еще услышит?
Что тебе делить со мной?
Он, как белый голубь, дышит
В колыбели лубяной.

Он:

Вечер приходит, поля голубеют, земля сиротеет.

Кто мне поможет воды зачерпнуть из криницы
глубокой?

Нет у меня ничего, я все растерял по дороге;
День провожаю, звезду встречаю. Дай мне напиться.

Она:

Где криница — там водица,

А криница на пути.

Не могу я дать напиться,

От ребенка отойти.

Вот он веки опускает,

И вечерний млечный хмель

Обвивает, оmyвает

И качает колыбель.

Он:

Дверь отвори мне, выйди, возьми у меня что хочешь —
Свет вечерний, ковш кленовый, траву-подорожник...

* * *

Под сердцем травы тяжелеют росинки,

Ребенок идет босиком по тропинке,

Несет землянику в открытой корзинке,

А я на него из окошка смотрю,

Как будто в корзинке несет он зарю.

Когда бы ко мне побежала тропинка,

Когда бы в руке закачалась корзинка,

Не стал бы глядеть я на дом под горой,

Не стал бы завидовать доле другой,

Не стал бы совсем возвращаться домой.

ЯЛИК

Что ты бредишь, глазной хрусталик?
Хоть бы сам себя поберег.
Не качается лодочка-ялик,
Не взлетает птица-нырок.

Камыши полосы прибрежной
Достаются на краткий срок.
Что ты бродишь, неосторожный,
Вдалеке от больших дорог?

Все, что свято, все, что крылато,
Все, что пело мне: «Добрый путь!» —
Меркнет в желтом огне заката.
Как ты смел туда заглянуть?

Там ребенок пел загорелый,
Не хотел возвращаться домой,
И качался ялик твой белый
С голубым флажком над кормой.

* * *

Река Сугаклея уходит в камыш,
Бумажный кораблик плывет по реке,
Ребенок стоит на песке золотом,
В руках его яблоко и стрекоза.
Покрытое радужной сеткой крыло
Звенит, и бумажный корабль на волнах
Качается, ветер в песке шелестит,
И все навсегда остается таким...
А где стрекоза? Улетела. А где
Кораблик? Уплыл. Где река? Утекла.

БЕЛЫЙ ДЕНЬ

Камень лежит у жасмина.
Под этим камнем клад.
Отец стоит на дорожке.
Белый-белый день.

В цвету серебристый тополь,
Центифолия, а за ней —
Вьющиеся розы,
Молочная трава.

Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.
Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.

Вернуться туда невозможно
И рассказать нельзя,
Как был переполнен блаженством
Этот райский сад.

ДОЖДЬ

Как я хочу вдохнуть в стихотворенье
Весь этот мир, меняющий обличье:
Травы неуловимое движенье,

Мгновенное и смутное величье
Деревьев, раздраженный и крылатый
Сухой песок, щебечущий по-птичьи, —

Весь этот мир, прекрасный и горбатый,
Как дерево на берегу Ингула.
Там я услышал первые раскаты

Грозы. Она в бараний рог согнула
Упрямый ствол, и я увидел крону —
Зеленый слепок грозового гула.

А дождь бежал по глиняному склону,
Гонимый стрелами, ветвисторогий,
Уже во всем подобный Актеону.

У ног моих он пал на полдороге.

НА БЕРЕГУ

Он у реки сидел на камыше,
Накошенном крестьянами на крыши,
И тихо было там, а на душе
Еще того спокойнее и тише.
И сапоги он скинул. И когда
Он в воду ноги опустил, вода
Заговорила с ним, не понимая,
Что он не знает языка ее.
Он думал, что вода — глухонемая
И бессловесно сонных рыб жильё,
Что реют над водою коромысла
И ловят комаров или слепней,
Что хочешь мыться — мойся, хочешь — пей,
И что в воде другого нету смысла.

И вправду чуден был язык воды,
Рассказ какой-то про одно и то же,

На свет звезды, на беглый блеск слюды,
На предсказание беды похожий.
И что-то было в ней от детских лет,
От непривычки мерить жизнь годами,
И от того, чему названья нет,
Что по ночам приходит перед снами,
От грозного, как в ранние года,
Растительного самоощущенья.

Вот какова была в тот день вода
И речь ее — без смысла и значенья.

ЗИМА В ДЕТСТВЕ

I

В желтой траве отплясали кузнечики,
Мальчику на зиму кутают плечки,
Рама вставляют, летает снежок,
Дунула вьюга в почтовый рожок.
А за воротами шаркают пильщики,
И ножи-ножницы точат точильщики,
Сани скрипят, и снуют бубенцы,
И по железу стучат кузнецы.

II

Мерещится вейлка

А в доме у Тарковских
Полным-полно приезжих,
Гремят посудой, спорят,
Че разбирают елки,

И сыплются иголки
В зеркальные скорлупки,
Пол серебром посолен,
А самый младший болен.

На лбу компресс, на горле
Компресс. Идут со свечкой.
Малиной напоили?
Малиной напоили.

В углу зажгли лампадку,
— И веялку приносят,
И ставят на площадку,
И крутят рукоятку,

И сыплются обрезки —
Жестянки и железки.
Вставай, пойдем по краю,
Я все тебе прощаю.

То под гору, то в гору
Пойдем в другую пору
По зимнему простору,
Малиновому снегу.

КАЗЕННЫЙ САД

Еще в ушах стоит и гром и звон:
У, как трезвонил вагоновожатый!

Туда ходил трамвай, и там была
Неспешная и мелкая река —
Вся в камыше и ряске.

Я и Валя

Сидим верхом на пушках у ворот
В Казенный сад, где двухсотлетний дуб,
Мороженщики, будка с лимонадом
И в синей раковине музыканты.

Июнь сияет над Казенным садом.

Труба бубнит, бьют в барабан, и флейта
Свистит, но слышно, как из-под подушки:
В полбарабана, в полтрубы, в полфлейты
И в четверть сна, в одну восьмую жизни.

Мы оба

(В летних шляпах на резинке,
В сандалиях, в матросках с якорями)
Еще не знаем, кто из нас в живых
Останется, кого из нас убьют,
О судьбах наших нет еще и речи,
Нас дома ждет парное молоко,
И бабочки садятся нам на плечи,
И ласточки летают высоко.

* * *

Я в детстве заболел
От голода и страха. Корку с губ
Сдери — и губы облизну; запомнил
Прохладный и солоноватый вкус.
А все иду, а все иду, иду,
Сижу на лестнице в парадном, греюсь,
Иду себе в бреду, как под дуду
За крысоловом в реку, сяду — греюсь

На лестнице; и так знобит и эдак.
А мать стоит, рукою манит, будто
Невдалеке, а подойти нельзя:
Чуть подойду — стоит в семи шагах,
Рукою манит; подойду — стоит
В семи шагах, рукою манит.

Жарко

Мне стало, расстегнул я ворот, лег, —
Тут затрубили трубы, свет по векам
Ударил, кони поскакали, мать
Над мостовой летит, рукою манят —
И улетела...

И теперь мне снится
Под яблонями белая больница,
И белая под горлом простыня,
И белый доктор смотрит на меня,
И белая в ногах стоит сестрица
И крыльями поводит. И остались.
А мать пришла, рукою поманила —
И улетела...

ЭСХИЛ

В объмку с молодостью, второпях
Чурался я отцовского наследия
И не приметил, как в моих стихах
Свила гнездо Эсхилова трагедия.

Почти касаясь клюва и когтей,
Обманутый тысячелетней сказкою,
С огнем и я играл, как Прометей,
Пока не рухнул на гору кавказскую.

Гонца богов, мальчишку, холоя,
На крылышках снующего над сценою,
— Смотри,— молю,— вот кровь и кость моя,
Иди, возьми, что хочешь, хоть Вселенную!

Никто из хора не спасет меня,
Не крикнет: «Смилуйся или добей его!»
И каждый стих, звучащий дольше дня,
Живет все той же казнию Прометеевой.

ФОНАРИ

Мне запомнится таянье снега
Этой горькой и ранней весной,
Пьяный ветер, хлеставший с разбега
По лицу ледяною крупой,
Беспокойная близость природы,
Разорвавшей свой белый покров,
И косматые шумные воды
Под железом угрюмых мостов.

Что вы значили, что предвещали,
Фонари под холодным дождем,
И на город какие печали
Вы наслали в безумье своем,
И какую тревогою ранен
И обидой какой уязвлен
Из-за ваших огней горожанин,
И о чем сокрушается он?

А быть может, он вместе со мною
Исполняется той же тоски
И следит за свинцовой волною,
Под мостом обходящей быки?

И его, как меня, обманули
Вам подвластные тайные сны,
Чтобы легче им было в июле
Отказаться от черной весны.

У ЛЕСНИКА

В лесу потерял я ружье,
Кусты разрывая плечами;
Глаза мне ночное зверье
Слепило своими свечами.

Лесник меня прячет в избе,
Сижу я за кружкою чая,
И кажется мне, что к себе
Попал я, по лесу блуждая.

Открыла мне память моя
Таинственный мир соответствий:
И кружка, и стол, и скамья
Такие же точно, как в детстве.

Такие же двери у нас
И стены такие же были.
А он продолжает рассказ,
Свои стародавние были.

Цигарку свернет и в окно
Моими посмотрит глазами.
— Пускай их свистят. Все равно.
У нас тут балуют ночамм.

* * *

Дом без жильцов заснул и снов не видит.
Его душа, безгрешна и пуста,
В себя глядит закрытыми глазами,
Но самое себя не сознает
И дико вскидывается, когда
Из крана бульба шлепнется на кухне.
Водопровод молчит, и телефон
Молчит.

Ну что же, спи спокойно, дом,
Спи, кубатура-сирота! Вернутся
Твои жильцы, и время в чем попало —
В больших кувшинах, в синих ведрах, в банках
Из-под компота — принесут, и окна
Отворят, и продуют сквозняком.

Часы стояли? Шли часы? Стояли.
Вот мы и дома. Просыпайся, дом!

СВЕРЧОК

Если правду сказать,
я по крови — домашний сверчок,
Заповедную песню
пою над печною золой,
И один для меня
приготовит крутой кипяток,
А другой для меня
приготовит шесток золотой.

Путешественник вспомнит
 мой голос в далеком краю,
Даже если меня
 променяет на знойных цикад.
Сам не знаю, кто выстругал
 бедную скрипку мою,
Знаю только, что песнями
 я, как цикада, богат.

Сколько русских согласных
 в полночном моем языке,
Сколько я поговорок
 сложил в коробок лубяной,
Чтобы шарили дети
 в моем лубяном коробке,
В старой скрипке запечной
 с единственной медной струной.

Ты не слышишь меня,
 голос мой — как часы за стеной,
А прислушайся только —
 и я поведу за собой,
Я весь дом подыму:
 просыпайтесь, я сторож ночной!
И заречье твое
 отзовется сигнальной трубой.

МУЗЕ

Мало мне воздуха, мало мне хлеба,
Льды, как сорочку, сорвать бы мне с плеч,
В горло вобрать бы лучистое небо,
Между двумя океанами лечь,

Под ноги лечь у тебя на дороге
 Звездной песчинкою в звездный песок,
 Чтоб над тобою крылатые боги
 Перелетали с цветка на цветок.

Ты бы могла появиться и раньше
 И приоткрыть мне твою высоту,
 Раньше могли бы твои великанши
 Книгу твою развернуть на лету,
 Раньше могла бы ты новое имя
 Мне подобрать на своем языке, —
 Вспыхнуть бы мне под стопами твоими
 И навсегда затеряться в песке.

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

..Как волна на волну набегаёт,
 Гонит волну пред собой, нагоняема сзади
 волною,
 Так же бегут и часы..

*Овидий. „Метаморфозы“,
 XV (перевод С. Шервинского)*

Ты ангел и дитя,
 ты первая страница,
 Ты катишь колесо прибоя пред собой —
 Волну вослед волне, и гонишь, как прибой,
 За часом новый час — часы, как часовщица.
 И все, что бодрствует, и все, что спит и
 снится,
 Слетается на пир зелено-голубой.
 А я клянусь тебе, что княжил над судьбой,
 И хоть поэтому ты не могла не сбыться.

Я под твоей рукой, а под рукой моей
Земля семи цветов и синь семи морей,
И суток лишний час, и лучший месяц года,

И лучшая пора бессонниц и забот —
Спугнет тебя иль нет в час твоего прихода
Касатки головокружительный полет.

* * *

И это снилось мне, и это снится мне,
И это мне еще когда-нибудь приснится,
И повторится все, и все довоплотится,
И вам приснится все, что видел я во сне.

Там, в стороне от нас, от мира в стороне
Волна идет вослед волне о берег биться,
А на волне звезда, и человек, и птица,
И явь, и сны, и смерть — волна вослед волне.

Не надо мне числа: я был, и есмь, и буду,
Жизнь — чудо из чудес, и на колени чуду
Один, как сирота, я сам себя кладу,
Один, среди зеркал — в ограде отражений
Морей и городов, лучащихся в чаду.
И мать в слезах берет ребенка на колени.



IV

СЛЕПОЙ

■

Зрачок слепца мутней воды стоячей,
Он пылью и листвою запорошен,
На роговице, грубой и незрячей,
Вращающийся диск отображен.
Кончался день, багровый и горячий,
И солнце покидало небосклон.
По городу, на каждом перекрестке,
На всех углах шушукались подростки.

II

Шумел бульвар, и толкотня росла,
Как в час прибоя волны океана,
Но в этом шуме музыка была —
Далекий перелет аэроплана.

Тогда часы, лишённые стекла,
Слепец, очнувшись, вынул из кармана,
Вздыхнул, ощупал стрелки, прямо в гул
Направил палку и вперед шагнул.

III

Любой пригорок для слепца примета.
Он шел сквозь шу-шу-шу и бу-бу-бу
И чувствовал прикосновенья света,
Как музыканты чувствуют судьбу, —
Случайный облик, тремоло предмета
Среди морщинок на покато́м лбу.
К его подошвам листья прилипали,
И все ему дорогу уступали.

IV

В

Ты помнишь руки терпеливых швей?
Их пальцы быстрые и целлулоид
Ногтей? Ужель подобия клещей
Мерцающая кожа не прикроет?
В тугих тисках для небольших вещей
Иголка надломившаяся ноет,
Играют ногти, движутся тиски,
Мелькают равномерные стежки.

V

Коробка повернется костяная,
Запястье хрустнет... Но не такова
Рука слепца, она совсем живая,
Смотри, она колеблется едва,

Как водоросль, вполсвета ощущая
Волокна волн мельчайших. Так жива,
Что через палку свет передается.
Слепец шагал прямой канатоходца.

VI

А был бы зрячим — чудаком сочли
За белую крахмальную рубашку,
За трость в руке и лацканы в пыли,
За высоко надетую фуражку,
За то, что, глядя на небо, с земли
Не поднял он рублевую бумажку, —
Пусть он на ощупь одевался, пусть
Завязывал свой галстук наизусть.

VII

Не путаясь в громоздкой партитуре,
Он расчленил на множество ключей
Зыбучий свист автомобильных фурий
И шарканье актеров без речей.
Он шел как пальцы по клавиатуре
И мог бы, не толкая скрипачей,
Коснуться пышной шушеры балета —
Крахмальных фей и серпантина света.

VIII

Так не пугай ребенка темнотой:
На свете нет опасней наказания.
Он в темноте заплачет, как слепой,
И подберет подарок осязанья —

Уменье глаз надавливать рукой
До оощуенья полного сиянья.
Слепцы всегда боялись глухоты,
Как в детстве мы боимся темноты.

IX

Он миновал гвоздикой населенный
Цветочный домик посреди Страстной¹
И на вертушке в будке телефонной
Нащупал буквы азбуки стальной.
Слепец стоял за дверью застекленной.
Молчала площадь за его спиной,
А в ухо пела нежная мембрана
Немного глухо и немного странно.

X

Весь голос был почти что на виду,
Почти что рядом — на краю вселенной.
— Да, это я, — сказал слепец. — Иду. —
Дверь отворил, и гул многоколенный
На голоса — на тубу, на дуду,
На сотни флейт — распался постепенно.
Слепой лицом почувствовал: само
В руках прохожих тает эскимо.

XI

Он тронул ребра душного трамвая,
Вошел и дверь задвинул за собой,

¹ Страстная — теперь Пушкинская площадь в Москве.

И сразу, остановки называя,
Трамвай скользнул по гладкой мостовой.
С передней встали, место уступая.
Обиженный обычной добротой,
Слепец, садясь, едва сказал «спасибо»,
Окаменел и рот открыл, как рыба.

XII

Аквариум с кисельною водой,
Жилище рыб и спящего тритона,
Качающийся ящик тепловой,
Колокола и стоны саксофона,
И желтый свет за дверью слюдяной —
Грохочущий аквариум вагона.
И в этой тесноте и суете
Был каждый звук понятен слепоте.

ЧУДО СО ЩЕГЛОМ

(Поселковая повесть)

Врач: Я две ночи нес наблюдение вместе с вами, но не вижу ни малейшего подтверждения вашему рассказу. Когда она бродила последний раз?

Придворная дама: С тех пор, как его величество выступил в поход, я видела не однажды, как она вставала, накидывала на себя ночной халат...

...Смотрите, вот она идет!

Шекспир. „Макбет“

I

Снимал я комнату когда-то
В холодном доме на Двадцатой
Версте¹, а за моей стеной
Нескромно со своей женой
Питомец жил консерваторский,
Пел как Шаляпин и Касторский,
Но громче и, как Рейзен, в нос.
В передней жил облезлый пес,
Пушком его звала хозяйка.
Она была, как балалайка,
Вся — вниз. Вверху торчал пучок
Величиною с пятачок,
Седой, но рыжей краской крашен.
Лба не было, и чем-то страшен
Был осторожный, будто вор,
Хозяйки ящеричий взор.
Со всею желтизной своею
Лицо переходило в шею
И, чуть расширившись в плечах,

¹ Двадцатая верста — подмосковная станция Белорусско-Балтийской железной дороги, ныне Баковка.

Как вдоль по грифу, второпях
Внезапно раздавалось тело
И доходило до предела
Своих возможностей. Она
Была смертельно влюблена
В соседа моего — из класса
Вокального — красавца баса.

II

Ах, Шуберт, Шуберт! Твой «Двойник»¹
В раструб ее души проник,
И рокотал, и сердце ранил,
И душу страстную тиранил.
Хозяйка бедная всю ночь
Глядит на дверь певца — точь-в-точь
Злосчастный евнух, страж гарема,
Стоит и всхлипывает немо,
Сжимает кулаками грудь,
И только в горле бьется ртуть.

Я что ни день твердил соседям:
— Друзья, давайте переждем.
Не соблазняйте малых сих
Пыланием сердец своих. —
А бас и хрупкое сопрано
В ответ со своего дивана
Хохочут так, что спасу нет,
Кричат:

— Да ну тебя, сосед!

III

Однажды, синий от мороза,
Я брел со станции домой.

¹ «Двойник» — песня Фр. Шуберта на слова Г. Гейне.

Добрел, и тут же за Ломброзо¹,
Сижу, читаю...

Боже мой!

Свечи мигающее пламя
Ужасный образ создает:
С его нечистыми глазами,
С его петлистыми ушами,
Как в гробовой сосновой раме,
В дверях Преступный Тип встает.
— Налоги за истекший год
И за дрова внести мне надо.
Я получить была бы рада
Не то чтоб за февраль вперед,
Хоть за январь мне заплатите,
Коль нежелательных событий
И впрямь хотите избежать.
Итак, я жду. С вас двадцать пять.

О, эта жизненная проза
И уши — две печати зла!
Антропология Ломброзо
Вдруг подтверждение нашла.
Хозяйка хлопнула дверями
И — прочь! Колеблемое пламя
Слетело с фитиля свечи,
Свеча погасла, и завыло
Все окаянное, что жило
Внутри нетопленной печи —
Те упыри, те палачи,
Что где-то там, в ночи унылой,
Терзают с неизбывной силой

¹ Чезаре Ломброзо (1836—1909) — итальянский психиатр, антрополог и криминалист, основатель антропологической школы в науке уголовного права. Его работу «Преступный человек» (1876) в переводе на русский язык читал персонаж поэмы, от лица которого ведется повествование.

Преступных Типов за могилой.
А за окошком тоже выло:
Плясала по снегу метель,
Ее дурманил свежий хмель,
Она плясала без рубашки,
Бесстыже выгибая ляжки,
Снежинки из ее баклажки,
Как сторублевые бумажки,
Метались, клювами стуча
В стекло.

Где спички? Где свеча?

IV

Я — к двери баса и сопрано.
Казалось мне, что я кричу,
А я едва-едва шепчу:
— Кто у меня задул свечу?
Кто спички выкрал из кармана?
Кто комнаты сдает внаем,
А в комнатах температура
Плюс пять? Преступная Натура
Нарочно выстудила дом:
Ангина хватит, а потом
Прости-прощай колоратура.
Все — Балалайка! У нее
В буфете между чайных ложек
Отточенное лезвие
Захоронил сапожный ножик,
Она им режет кур. Она
В уме совсем повреждена.
В ее глазах горит угроза
Убийства. От ее ушей
Злодейством тянет. Сам Ломброзо
Ушей петлистей и страшней
Вовек не видел. Бойтесь мести!

На почве зла рождается зло.
Бежим! Бежим! Я с вами вместе!
Увязывайте барахло!

Тут я упал в передней на пол.
Не знаю, сколько я лежал,
Как долго пес лицо мне лапал
И губы языком лизал.
Меня в постель перетащили.
Хинином душу мне глушили,
Гасили снегом жар во лбу,
А я лежал, как труп в гробу.

Моя болезнь гнилой горячкой
Слыла тому сто лет назад.
Стояла смерть в углу за печкой,
И ведьмы обложили сад,
И черти по стене скользили,
Усевшись на свои хвосты,
И с непомерной высоты
К постели жмурики сходили:
— Погибли мы, и ты погиб!
Угробит всех Преступный Тип!

V

Зима прошла. Весною ранней
Очнулся я — один, один,
Без помощи, в сплошном тумане,
В дурмане, без гроша в кармане...
За стенкой — тихо на диване,
И всюду тихо. Из глубин
Души нахлынув, слезы льются...

Дверь настезь! Вижу донце блюда
И руку. Слышу:

— Гражданин!

Возьмите огурец соленый! —
И блюдце брякнулось на стул,
И все затихло. Пораженный
Явлением жизни возрожденной,
Не выплакавшись, я заснул.

Соседка с мужем возвратилась
Домой, когда уже в окне
Луна сквозь облачко светилась.
И что она сказала мне?
— Какая радость! Ваша милость
Для новой жизни пробудилась!
Ура, ура! Мы с муженьком
Сейчас напоим вас чайком.

Весна была, как Боттичелли,
И лиловата, и смутна.
Ее глаза в мои глядели
Из приоткрытого окна,
Ополоумев, птицы пели,
Из сада муравьи ползли.
Так снизошло к моей постели
Благословение земли.

VI

Настал июнь, мой лучший месяц.
Я позабыл угарный чад
Своих январских куролесиц,
Метелей и ломброзиад.
Жизнь повернуло на поправку:
Я сам ходил за хлебом в лавку,
На постном масле по утрам
Яичницу я жарил сам,
Сам сыпал чай по горсти в кружку
И сам себе добыл подружку.

Есть в птичьем горлышке вода,
В стрекозьем крылышке — слюда, —
В ней от июня было что-то,
И после гласных иногда
В ее словах звучала йота:

— Собайка —

— Хлеб —

— Цветы —

— Звезда.

Звучит — и пусть! Мне что за дело!
Хоть десять йот! Зато в косе
То солнце ярко золотело,
То вспыхивали звезды все.
Ее душа по-птичьи пела,
И в струнку вытянулось тело,
Когда, на цыпочки привстав,
Она вселенной завладела
И утвердила свой устав:
— Ты мой, а я твоя. —

И в этом

Была основа всех основ,
Глубокий смысл июньских снов,
Петрарке и другим поэтам
Понятный испокон веков.

VII

Искать поэзию не надо
Ни у других, ни в словарях,
Она сама придет из сада
С цветами влажными в руках:
— Ух, я промойкла в размахайке!
Сегодня будет ясный день!
Возьми полтийник и хозяйке
Отдай без сдайки за сирень! —

Еще словцо на счастье скажет,
Распустит косу, глаз покажет,
Все, что намокло, сбросит с плеч...
О этот взор и эта речь!
И ни намека на Ломброзо
Нет в этих маленьких ушах,
И от крещенского мороза —
Ну хоть бы льдинка в волосах:
Сплошной июнь!

За йотой йота
Щебечет, как за нотой нота,
И что ни день —
Одна забота:
Сирень — жасмин,
жасмин — сирень.

VIII

Соседям Йота полюбилась.
Они сказали:

— Ваша милость!
Давайте чай квартетом пить! —
Она им:

— Так тому и быть! —
Мы дружно пили чай квартетом,
Боялись выйти со двора
И в доме прятались: тем летом
Стояла дикая жара.
Хрустела глина в переулке,
Свернулась жухлая листва,
В канавах вымерла трава,
А в небо так забили втулки,
Что нам из влажных недр его
Не доставалось ничего.
Зной, весь в дыму, стоял над миром,
И был похож окрестный мир

На рыбу, прыщущую жиром,
В кипящий ввергнутую жир.
Но зною мы не поддавались,
Водою с милой обдавались,
И пили чай, и целовались
(Мы, и целуясь, пили чай
Полуодетые), и это
Был островок в пожаре лета,
И это было суший рай.

Но, занятые чаепитьем,
Мы, у соседей за столом,
Потрясены одним событием
Однажды были вчетвером.
Вошла хозяйка. Станным взглядом,
Как Вий, окинула певца.
Глаза, впечатанные рядом
В пергамент желтого лица,
Горели отраженным адом,
И нож сверкал в руке. Она
Была почти обнажена.
Не скрыв и половины тела,
Хламида на плече висела,
Распущен был седой пучок,
Пот по увядшей коже тек.
Она воскликнула:

— Зачем он
В мой дом проник с женой своей?
Оставь, оставь ее, мой Демон.
А ты сокройся от очей,
Змея, чернавка, сербиянка,
Цыганка, ведьма, персиянка,
И подходить к нему не смей!
Что сделал ты со мной, злодей?
Кто я теперь? Двойник, воспетый
Тобой самим в проклятый день!

Меня казнят — и пусть! За Летой
С тобой моя пребудет тень.
Умри ж! —

На стул хозяйка села,
И нож сапожный уронила,
И в сторону сползла со стула,
И на пол замертво упала.
Тогда с лицом бледнее мела,
Дрожа от ужаса, певец
Вскочил и крикнул:

— Я подлец!

Она моей любви хотела,
А я плевал на это дело,
И вот теперь она мертва!—
А милая моя сидела,
Она ничуть не побледнела,
Чай допила, калач доела
И молвила:

— Она жива. —

Вскричал певец:

— Что делать будем?

Как я теперь — источник зла —
Посмею показаться людям?!

Моя подружка изрекла:

— Давайте куйтим ей щегла!

IX

Дождь грянул наконец. Он длился
Как птичья песнь. Он так плясал
И так старался, так резвился,
Что мир окрест преобразился
И засверкал, как бальный зал.
Гром, как державинская ода,

По крыше ямбом грохотал;
В поселке ожила природа,
С омытых листьев пыль стекла,
И блеск хрустального стекла
Приобрели углы и грани
Прекраснейшего из числа
Неисчислимых мирозданий.
Ушли Стрелки-Громовики,
Дождь перестал. Переходили
Потоки вброд и воду пили
В кустах смородины жуки,
И без мучительных усилий
Росли грибы-дождевики.

Хозяйка наша в это время
Сидела в комнате своей.
Ее не тяготило бремя
Былых томительных ночей
И дней безрадостных. На темя
И стан ее, согнав печаль,
Слетела розовая шаль
Спокойствия и упований,
Хозяйке неизвестных ране.
И что теперь ей до того,
Кто спит с женою на диване,
Не видя больше никого?
Она не держит на записке —
Ушел певец или пришел —
Повержен ревности престол:
Перед лицом хозяйки в клетке
Поет и прыгает щегол!
Он для нее слагает стансы,
С утра впадает в забытье
И в забытьи поет романсы,
Танцует танцы для нее.
Щегол хорош, как шелк турецкий!

Чуть он прищелкнет:

— Цо-цо-цо! —

Заулыбается по-детски

Порозовевшее лицо.

Прищелкнув, засвистит, как флейта:

— Фью-фью! —

И глянет: каково?

Что басовитый голос чей-то

В сравненье с дискантом его?

Чушь, чушь!

А в комнате порядок,

Блестит зеркальным огоньком

Комод с фарфоровым котом,

Натерты крышки всех укладок

Полировальным порошком;

Кругом крахмал, и ни пылинки,

А что за платье в будний день!

А розочки на пелеринке —

Как было вышивать не лень!

Ах ты, щегол, колдун, волшебник,

Носитель непонятных сил!

Какому ты — живой учебник —

Хозяюку счастьем научил!

С тобою белый день белее,

А ночью белого белей

Свободно плещут крылья феи

В блаженной комнате моей.

СОДЕРЖАНИЕ

I

«Ночью медленно время идет...»	
«Был домик в три оконца...»	
«Мне другие мерещатся тени...»	
«Меркнет зрение — сила моя...»	
«Душу, вспыхнувшую на лету...»	
«Влажной землей из окна потянуло...»	
«Я тень из тех теней, которые, однажды...»	
«Сколько листвы намело. Это легкие наших де- реьев...»	
«В последний месяц осени, на склоне...»	
Феофан Грек	
Григорий Сковорода	
«Где целовали степь курганы...»	
Приазовье	
Пушкинские эпитафии	
«Просыпается тело...»	
Портрет	
«А все-таки я не истец...»	
К стихам	
Цейский ледник	
Мельница в Даргавском ущелье	
Дагестан	
Комитас	
Песня	

Дождь в Тбилиси	25
«Ты, что бабочкой черной и белой...»	26
«С утра я тебя дожидался вчера...»	27
25 июня 1935	27
«Я так давно родился...»	28
«Отнятая у меня, ночами...»	29
Игнатьевский лес	29
«Если б, как прежде, я был горделив...»	30
Ночной дождь	31
«Я боюсь, что слишком поздно...»	32
Перед листопадом	33
«Мне в черный день приснится...»	33
«Сирени вы, сирени...»	35
«Вечерний, сизокрылый...»	36
«Снова я на чужом языке...»	37
Темнеет	37
Ночь под первое июня	38
Первые свидания	39
Как сорок лет тому назад	40
Ветер	42

II

Руки	44
Словарь	45
Степная дудка	46
Малютка жизнь	48
Посредине мира	48
Титанья	49
Шиповник	50
Голуби	51

Анжело Секки	51
Стань самим собой	52
Карловы Вары	54
«Пускай меня простит Винсент Ван-Гог...»	54
Пауль Клее	55
Балет	56
Кактус	58
Поэт	58
Сны	60
Верблюд	61
В дороге	62
Дерево Жанны	63
Поздняя зрелость	64
«О, только бы привстать, опомниться, очнуться...»	65
«Я учился траве, раскрывая тетрадь...»	65
«Вот и лето прошло...»	66
Первая гроза	67
Степь	67
Деревья	69
Жизнь, жизнь	71
Оливы	73
Эвридика	74
Рифма	75
Ранняя весна	76
«Над черно-сизой ямою...»	77
Дом напротив	78
Утро в Вене	80
«Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был...»	80
В музее	82
Явь и речь	83

Снежная ночь в Вене	84
«И я ниоткуда...»	84
«Струнам счет ведут на лире...»	85
Земное	86
Загадка с разгадкой	86
Кóра	87
Зимой	88
До стихов	88
«Стихи попадают в печать...»	89
Ода	90

III

Близость войны	91
Суббота, 21 июня	92
«Русь моя, Россия, дом, земля и матери!»	93
«Тебе не наскучило каждому снится...»	94
Проводы	95
«Хорошо мне в теплушке...»	96
«Ехал из Брянска в теплушке слепой...»	97
«Чего ты не делала, только...»	97
«Вы нашей земли не считаете раем...»	99
«На черной трубе погорелого дома...»	100
«Стояла батарея за этим вот холмом...»	100
Охота	100
Беженец	101
Мартовский снег	102
Зима в лесу	102
«Когда под соснами, как подневольный раб...»	103
Земля	104
«Тот жил и умер, та жила...»	105

Полевой госпиталь	105
Иванова ива	107
Зуммер	107
После войны	108
Чем пахнет снег	110
Мщение Ахилла	112
Предупреждение	113
Книга травы	114
Стирка белья	115
Как двадцать два года тому назад	116
Через двадцать два года	117
Могила поэта	118
Ласточки	119
Дорога	120
Рукопись	120
«Стелил я снежную постель...»	121
«Когда у Николы Морского...»	122
«Домой, домой, домой...»	122
«По льду, по снегу, по жасмину...»	123
«И эту тень я проводил в дороге...»	124

IV

Новогодняя ночь	125
«Стол накрыт на шестерых...»	126
Орбита	127
«Порой по улице бредешь...»	128
«Третья сутки дождь идет...»	130
«Пляшет перед звездами звезда...»	130
«Когда купальщица с тяжелой косой...»	131
Сократ	131

Превращение	132
Только грядущее	132
Слово	134
Переводчик	135
«Я долго добивался...»	136
«Вы, жившие на свете для меня...»	137
«Мне бы только теперь до конца не раскрыться...»	138
«Мне опостытели слова, слова, слова...»	138
Конец навигации	138
«Жизнь меня к похоронам...»	139
СКАЗКИ И РАССКАЗЫ	
Русалка	141
Румпельштильцхен	142
Серебряные Руки	143
Две японские сказки	143
Две лунные сказки	144
Телец, Орион, Большой Пес	146
Звездный каталог	147
Кузнечики	148
Четвертая палата	149
Бессонница	150
Телефоны	151
Имена	152
Лазурный луч	153
Новоселье	155
V	
«Позднее наследство...»	158
Стихи из детской тетради	159
«Мы шли босые, злые...»	160

Жили-были	161
«Кухарка жирная у скарред...»	163
Елена Молоховец	164
Страус в 1913 году	165
«Тогда еще не воевали с Германией...»	166
Затмение солнца, 1914	166
Поэт начала века	167
Колыбель	168
«Под сердцем травы тяжелеют росинки...»	169
Ялик	170
«Река Сугакля уходит в камыш...»	170
Белый день	171
Дождь	171
На берегу	172
Зима в детстве	173
Казенный сад	174
«Я в детстве заболел...»	175
Эсхил	176
Фонари	177
У лесника	178
«Дом без жильцов заснул и снов не видит...»	179
Сверчок	179
Музе	180
Надпись на книге	181
«И это снилось мне, и это снится мне...»	182

VI

Слепой	183
Чудо со щеглом	188

**Арсений Александрович
Тарковский**

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Рецензент *Т. Флоров*

Редактор *Г. Касмынин*

Художник *К. Авдеев*

Художественный редактор *В. Покатов*

Технический редактор *В. Флид*

Корректор *В. Дробышева*

ИБ № 2422. Сдано в набор 22.10.82. Подписано
к печати 09.03.83. А06537. Формат 70×90^{1/32}. Гар-
нитурa литературная. Печать высокая. Бумага
тип. № 1. Усл. печ. л. 7,61. Усл. кр.-отт. 7,88.
Уч.-изд. л. 7,39. Тираж 20 000 экз. Заказ 3965.
Цена 95 коп.

Издательство «Современник» Государственного
комитета РСФСР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли и Союза писате-
лей РСФСР
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4

390012, Рязань, Новая, 69/12
Рязанская областная типография

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЫ!

Просим Вас отзывы о книге — ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении — направлять по адресу:

*121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4
Издательство «Современник»*

